НОВАЯ ПОЛЬША

№7-8(33) 2002



Тадеуш Конвицкий о поисках смысла жизни

Ян Малицкий — ЧЕЛОВЕК-СОЗВЕЗДИЕ

Александр Ледницкий — московский адвокат, польский патриот

Петр Слонимский, князь биологов

Иоанна Роникер о своей родословной

Збигнев Флорчак о неученых мастерах

Василий Щукин о роковом вопросе, который до сих пор не решен

Андрей Ермонский: ЧИТАТЬ ГОМБРОВИЧА!

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

НОВАЯ ПОЛЬША



№ 7-8(33)
2002
ИЮЛЬ-АВГУСТ

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК



СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ — НЕВЕДЕНИЕ 3
Беседа с Тадеушем Конвицким



Виктор Кулерский 5
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ



ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 12
Премии президента Польши за 2002 г.



Стефан Братковский 13
ОТ «ГОСПОДИНА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»
— К «АТЛАНТИДЕ, ТАК БЛИЗКО»



Василий Щукин 21
РОКОВОЙ ВОПРОС



Кшиштоф Поль 25
МОСКОВСКИЙ АДВОКАТ, ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ



Вацлав Ледницкий 34
РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ENTENTE CORDIALE



Семен Букчин 37
ПОЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА



НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Роберт Яроцкий 49
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИОЛОГА



Янина Куманецкая 49
ПО ТРАДИЦИИ ХУДОЖНИКОВ И УЧЕНЫХ



НАШИ ЛЮДИ

ВЫШЕ ГОЛОВУ 56
Беседа с Иоанной Ольчак-Роникер



Андрей Ермонский 61
ВЫ ГОМБРОВИЧА НЕ ЧИТАЛИ?

Витольд Гомбрович 64
ФЕРДИДУРКА





Лешек Шаруга 68
ПЛОТЬ ЛИТЕРАТУРЫ



Инга Ивасюв 69
СТИХОТВОРЕНИЯ



Кшиштоф Бурнетко 72
ЯН МАЛИЦКИЙ, ЧЕЛОВЕК-СОЗВЕЗДИЕ

Вениамин Иофе 75
БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЦКИЙ ПОБЕГ 1925 ГОДА

Петр Мицнер 75
ПАМЯТИ ВЕНИАМИНА ИОФЕ



РОССИЯ В ПОЛЬСКИХ СМИ — ОТ ЭМОЦИЙ К АНАЛИЗУ 79
Беседа с Янушем Адамовским



Марек Карпинский 83
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БЕРДЯЕВУ



Гжегож Пшебинда 85
МЕСТО И ВРЕМЯ МИХАИЛА ХЕЙФЕЦА



Войцех Скальмовский 91
«ПЕСНЬ О НОЧИ» КАРОЛЯ ШИМАНОВСКОГО



Збигнев Флорчак 96
НЕУЧЕНЫЕ МАСТЕРА



Лешек Шаруга 101
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ



Янина Куманецкая 105
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ



Анна Мицнер 108
БЕЗДОМНАЯ ГАЛЕРЕЯ

«ШИЗОФРЕНИЯ» 108



Евгения Домбковская 110
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — В ПОДАРОК ВАРШАВЕ



Катажина К. Гардзина 111
ЮБИЛЕИ И ГОДОВЩИНЫ



Михал Болтрык 112
ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ

Переводчики: Н.Астафьева, А.Базилевский, Н.Горбаневская, А.Ермонский, Н.Кузнецов, И.Обухова, А.Пустынцева, К.Старосельская, В.Щукин.
Фото ©: Piotr Malecki (стр. 3), **Tomasz Rytych („Gazeta Poznańska")** (стр. 12), **Архив редакции** (стр. 25, 29, 32, 34, 49, 52, 54, 72, 75, 77, 85, 96-100, 105, 108-110), **Д.К.** (стр. 56), **Kuba Dąbrowski** (стр. 60), **Tomasz Kizny** (стр. 76), **Валерий Мастеров** (стр. 79), **A.Kobos** (стр. 95).

Редакционный совет
Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Чёсек

Ежи Помяновский
(главный редактор)

Редколлегия
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер ***(зам. гл. редактора)***
Кристина Пашек ***(секретариат)***
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих ***(зам. гл. редактора)***
Станислав Филипчак
(ответственный секретарь)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет
Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция
Кацпер Ванчик

Адрес редакции
Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглосци, 213
02-086 Варшава
тел: **(0-22) 608 27 95;608 25 65**
факс: **(0-22) 608 25 05; 608 27 96**
e-mail: **nowpol@bn.org.pl**
Информация о журнале для стран СНГ:
Издательство МИК, Москва,
ул. Большая Переяславская,
д.15, кв. 49
тел.: **280-83-52**
e-mail: **mik@mecom.ru**
Издатель
BIBLIOTEKA NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
По поручению Министерства Культуры и Национального Наследия Республики Польша

СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ — НЕВЕДЕНИЕ

С Тадеушем Конвицким беседует Агнешка Кропельницкая

На часах 15.30. Сейчас мы встретимся с Тадеушем Конвицким. Петр, фотограф, привез кучу всякого оборудования, лампы, штативы, генератор. «Вдруг там будет темно», — объясняет он. Мы на улице Гурского, пора, я нажимаю кнопку домофона.

— В чем дело? — хрипло вопрошает домофон.

— Мы из «Ньюсуика», — отвечаем.

Конвицкий скептически разглядывает нас с порога квартиры.

— Зачем все это, зачем так много? — говорит он недовольно. — А бомбу вы тоже прихватили? Ну ладно, пожалуй, я вас все же впущу.

Квартира темная, со множеством закоулков. Петр запутался в кабелях, я сажусь, жду. Минуту спустя Петр направляет писателю в лицо слепящий сноп света. Тот, лишь слегка поморщившись, поворачивается ко мне.



Тадеуш Конвицкий

— О чем мы собирались говорить? — спрашивает он. Отвечаю, что о смысле жизни. А он мне в ответ, что он старый человек, имеет полное право не помнить и даже недослышать. Поэтому я должна спрашивать громко. И как можно короче, потому что он не любит длинных вопросов. Так что я задаю один короткий вопрос — самый короткий, какой только смогла придумать:

— Смысл жизни?

Согласно пожеланию писателя я эти слова выкрикиваю, но он кривится:

— Я же слышу. Не так уж все плохо. Ладно, давайте к делу. Над смыслом жизни мы ломаем голову тысячелетиями. А для человека, который приближается к своему концу, этот вопрос становится особенно важным. Такой человек думает: жил я долго, много чего повидал, значит, и ответ должен иметь.

Конвицкий наклоняется, сплетает руки на коленях. В кругу яркого света писатель похож на икону. Петр на корточках подкрадывается к нему, раз за разом щелкая затвором. А Конвицкий вдруг открывает глаза:

— Нужно состроить какую-нибудь умную мину? Изображу-ка я мудреца специально для фото, — а потом продолжает: — О смысле жизни теперь в приличном обществе говорить зазорно. Этот вопрос, веками не получающий разумного ответа, стал банальным. Однако он продолжает нас мучить, хотя и загоняется все глубже. Но может быть, он только меня мучает? Я знаю, что человечество вымрет, так и не узнав, зачем жило. И стараюсь перед лицом этой тайны вести себя по-мужски.

— Петр, может, теперь для вас что-нибудь сделать? Что-нибудь эдакое? — внезапно спрашивает он фотографа, который пытается снять его сверху. — Пожалуй, я переставлю одну из стен, разворочу часть квартиры! Здесь мало места, того и гляди, шею себе свернете.

— Нет, не нужно, — отвечает фоторепортер.

И Конвицкий продолжает:

— Старомодная мужская позиция — принимать вещи такими, какие они есть. Подходить к неразрешимой загадке без страха. Не стремиться

во что бы то ни стало ее разгадать, а понять, что это невозможно. Кое-что стоит позаимствовать из философии или религии Востока. Это может помочь жить под бременем тайны. Жить в согласии с природой, уважая ближнего. Я не сказал, что нужно любить ближнего — это довольно трудно, но уважать, по крайней мере, надо.

Петр замер и слушает.

— Немногие на такое способны. А я уверен: этого достаточно, чтобы жить правильно. Я старался так жить. Конечно, банальное любопытство — интерес к смыслу жизни — не дает мне покоя. Я спрашиваю: как потрясти себя и другого человека, чтобы краешек этой тайны на минутку приоткрылся. Писатель должен фиксировать такие озарения. Очень важны уже сами попытки контакта между людьми. Подобные попытки — движущая сила искусства. Вопросы — неразлучные спутники каждого человека. Если б не было вопросов, мы бы не искали ответов, и мир застыл бы на месте. И я рад, что мы не найдем ответов, ибо смысл нашего бытия — неведение.

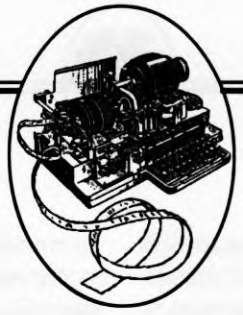
Конвицкий наливает мне рюмочку бренди и говорит, что Петр — одержимый фотограф.

— Только посмотрите, как у него горят щеки, — добавляет он. — Вы спрашиваете, почему я говорю, что вопрос о смысле жизни мучает нас чем дальше, тем сильнее? Мне этот вопрос неприятен: я знаю, что не получу на него ответа. И тем не менее задаю. И другие тоже задают, хотя, возможно, в этом не признаются. Мы будем спрашивать все отчаяннее, потому что мир несется со все большей скоростью, это видно хотя бы по темпу жизни Варшавы. И нам все неуютнее становится в этом ускоренном движении, и все труднее находить хоть какую-то опору. Поэтому мы ищем опору в поисках смысла жизни. Это даже легче: мы ведь знаем, что ответа не будет и можно спокойно сосредоточиться на самих поисках. Разве возросший интерес к сектам не свидетельствует о том, насколько болезненным стал вопрос о смысле жизни? Новые мессии, новые гуру — да их же все больше и больше. Люди, наверно, заблуждаются, хотя кто это может знать? Главное, что они ищут.

— А я смеюсь над своими поисками, — продолжает писатель, одновременно с интересом наблюдая за тем, как Петр залезает под стол. — Но я всегда над собой смеялся. Не спрашивайте меня, как жить в сегодняшнем мире: то, что я скажу, я тут же переиначу, сам подорву свой авторитет. Я говорил о мужском поведении перед лицом неведомого. Я считаю, что нельзя поддаваться моде на истеричность, на взрывы экстаза, на дешевую метафизику. Истеричность —свойство женского пола, женщина имеет право иногда немножко покипятиться. А мужчина — не имеет. Однако в мире все заметнее преобладает женское начало. Может быть, это и хорошо. Истеричность — пожалуйста, но еще и бóльшая впечатлительность, терпимость, интуиция. Может, так нужно искать смысл? Я, однако, продолжаю вести себя по-мужски, то есть спокойно приемлю неведение. А когда порой вижу на улице современных женщин, в самой низенькой из которых метр восемьдесят пять росту, а самая некрасивая — писаная красавица, а за ними тащатся какие-то бритоголовые уродцы с мотней до колен, то я перестаю удивляться, что так много мужиков хотят стать женщинами, что они считают их лучше себя. Конец. Хороший заключительный аккорд? Только, пожалуйста, Агнешка, запишите это так, чтобы получилось умно, хотя ничего умного тут не было, и чтобы я не выглядел ослом.

«Ньюсуик-Польша», 2002, 31 марта

Newsweek



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

⌘ **Президент Польши Александр Квасневский: сотрудничество России с НАТО «означает, что [теперь] мы в большей безопасности: с той стороны нам ничего не грозит. Однако для нас не менее важно вступление в НАТО соседних стран и сотрудничество Северо-Атлантического союза с Украиной. Декларации президента Путина однозначны: они [российское руководство] считают, что сделали правильный выбор, хотя не все в России согласны с этим мнением. Решимость президента Путина достойна уважения. Сегодня это партнерство должно получить кредит доверия, и я такой кредит даю». *(«Газета выборча», 29-30 мая)***

⌘ «В преддверии римской встречи *Россия—НАТО* Польша, Чехия и Венгрия высказали самые серьезные возражения против того, чтобы слишком широко распахивать перед Россией двери Северо-Атлантического союза (...) Частично наши сомнения вытекали из страха перед возвращением прошлого. Для поляков, чехов и венгров, а также для многих будущих членов пакта НАТО остается тем, чем было раньше: своего рода зонтиком, защищающим их от угрозы возвращения «старшего брата» (...) Однако сегодня усматривать в России лишь угрозу неразумно. Это несовместимо с процессами, идущими в международной политике. Будучи полноправным членом Союза, Польша, как и другие, должна быть заинтересована в нормализации политических отношений России с НАТО. Особенно при условии, что благодаря этому Европа, а значит и мы, будет более безопасной». *(Славомир Поповский, «Жечпосполита», 29-30 мая)*

⌘ **«Российские требования выделить на территории Польши и Литвы коридоры, по которым россияне могли бы свободно перемещаться из Калининградской области и обратно, напоминают полякам ультиматум Гитлера и сентябрь 1939 года. Кажется странным, что Россия не понимает этого, или только притворяется, что не видит такого контекста своих требований» *(Рышард Малик, «Жечпосполита», 13 мая)***

⌘ Министр иностранных дел Влодзимеж Цимошевич: «Как только появляются какие бы то ни было идеи, связанные с экстерриториальностью, особыми правами при проезде через территорию Польши или, не дай Бог, с т.н. экстерриториальными коридорами, мы говорим: об этом не может быть и речи. Польша никогда на это не согласится». *(«Газета выборча», 14 мая)*

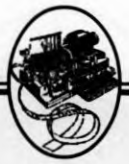
⌘ **Премьер-министр Лешек Миллер: «Ни о каких экстерриториальных коридорах и тому подобных вещах не может быть и речи». *(«Газета выборча», 14 мая)***

⌘ Президент Александр Квасневский после переговоров в Москве с Владимиром Путиным: «О коридорах не может быть и речи. Прежде всего я прошу не говорить об этом с Польшей, ибо это неизбежно приведет нас к воспоминаниям о II Мировой войне, которая началась с того, что Германия потребовала свободного коридора в Данциг». *(«Газета выборча», 7 июня)*

⌘ **«Европейский союз отверг предложение российской стороны создать коридоры, проходящие через территорию Польши и Литвы, которые давали бы жителям Калининградской области возможность безвизового транзита в Россию. «Для Союза, Польши и Литвы это неприемлемо», — говорится в коммюнике, опубликованном после состоявшейся в Светлогорске встречи членов комитета сотрудничества России и Европейского союза». *(Славомир Поповский, «Жечпосполита», 16 мая)***

⌘ Франтишка Заремба из Иркутска после высылки за пределы России иркутского епископа Ежи Мазура: «В России сейчас ищут новых врагов народа. А поляки, да еще и католики, прекрасно подходят для этой роли». *(Майя Нарбутт, «Жечпосполита», 18-19 мая)*

⌘ **Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Варшаву: «Живущие у нас поляки — это связующее звено между нами. Это наши поляки, поэтому мы относимся к ним очень хорошо. Мы хотим, чтобы поляки вернулись от вас к нам, а не уезжали от нас к вам». *(«Газета выборча», 25-26 мая)***



⌘ Экономическими советниками в посткоммунистических странах были, в частности: Лешек Бальцерович — при правительстве Украины и президенте Грузии; Ярослав Бауц — в центральном банке Эстонии и при министрах финансов Румынии и Монголии; Марек Домбровский — при правительствах Украины, Грузии, Таджикистана и Монголии, а также в Киргизии и Казахстане; Мартин Свенцицкий — при президенте Литвы; Ежи Осятынский и Хелена Гуральская — в Югославии и Молдавии; Здислава Голиновская — в Литве; Тадеуш Сирийчик — на Украине; группа Павла Рушковского — при правительстве Болгарии. *(«Политика», 1 июня)*

⌘ **Польские делегаты в Конвент, разрабатывающий конституцию объединенной Европы, заявили, что намерены выступить с предложением вписать в преамбулу конституции упоминание о Боге и христианских ценностях. Юзеф Олексы (СДЛС), один из польских делегатов, сказал в связи с этим: «Бог един. Мы должны жить не только в Европе концернов и тугих кошельков, но и в Европе духовной, которая будет развивать в человеке не только потребителя. Религия — один из элементов такой духовности». *(«Жечпосполита», 24 мая)***

⌘ Согласно опросу ЦИОМа, если бы референдум по вопросу вступления Польши в Евросоюз прошел в мае, 75% его участников проголосовали бы за вступление (в апреле эта цифра составляла 66%), а 19% — против (в апреле — 25%). *(«Газета выборча», 23 мая)*

⌘ **Гюнтер Ферхойген, комиссар по вопросам расширения Европейского союза: «С тех пор как к власти пришел кабинет Лешека Миллера, Польша добилась существенных успехов и закрыла многие главы [переговоров с Евросоюзом]. Я не думаю, что во время переговоров у вашей страны могут возникнуть серьезные проблемы». *(«Впрост», 2 июня)***

⌘ Председатель правления «Бизнес-Центр-клуба» Марек Голишевский: «Правительство Лешека Миллера стоит на распутье. Перед ним выбор: государственные интересы или интересы его электората. Иначе говоря, оно должно предпринять радикальные рыночные шаги (...) или пойти на поводу у требований профсоюзов, например, оставляя без изменений Трудовой кодекс. Пока все свидетельствует в пользу того, что правительство выбрало интересы государства и общества: ему удалось спасти бюджет от 40-миллиардного дефицита. Удалось, так как оно ограничило предпенсионные ассигнования, обложило налогом проценты от сбережений, уменьшило пособия по болезни, ликвидировало льготы на железнодорожные билеты. Оно подготовило также заслуживающий поддержки пакет [законов] «Прежде всего предприимчивость»». *(«Ньюсуик-Польша», 9 июня)*

⌘ **«Премьер обдумывает планы подчинения Совета валютной политики своему кабинету. Тем временем президент продолжает подчеркивать необходимость независимости центрального банка (...) Демократически избранные лидеры планируют самое большее на несколько лет вперед, поэтому они склонны жить в кредит или предпринимать рискованные шаги, негативные последствия которых будут видны лишь по прошествии долгого времени. Экономисты видят действительность с более далекой перспективы (...) Все более реальна опасность покушения на независимость Совета валютной политики». *(Бронислав Вильдштейн, «Жечпосполита», 13 июня)***

⌘ Лешек Бальцерович, председатель Совета валютной политики и Польского национального банка: «Нападки на Совет валютной политики не имеют прецедентов в цивилизованном мире (...) их следует рассматривать в категориях нанесения удара по современной демократической системе разделения властей. Современную демократию характеризует не только разделение на законодательную, исполнительную и судебную власть, но и отделение вопросов валютной политики от всей остальной политики. Об этом говорит опыт западной цивилизации. Это разделение закреплено польской конституцией и европейскими законами. Оно вырастает из опыта, показавшего, что если валютные решения принимаются на уровне текущей политики, это плохо и для валюты, и для уровня жизни, и для экономического развития. Это накопленный нелегким трудом опыт Запада, пришедшего к выводу, что в интересах граждан, которых необходимо защитить от инфляции, следует передать компетенции в области валютной политики независимому институту (...) Теперь в Сейме мы имеем дело с проектами, которые по сути дела должны лишить [центральный банк] независимости. Авторы этих проектов не скрывают своих намерений — они хотят подчинить себе валютную политику». *(«Газета выборча», 12 июня)*



⌘ **Министр внутренних дел и администрации постановил лишить личной охраны председателя Польского национального банка Лешека Бальцеровича, директора Института национальной памяти Леона Кереса и защитника общественных интересов в люстрационных процессах Богуслава Низенского.** ***(«Тыгодник повшехный», 16 июня)***

⌘ По данным Главного статистического управления, в прошлом году стоимость произведенной нами продукции составила 721,6 млрд. злотых. Таков размер нашего валового внутреннего продукта. Это означает, что на каждого жителя Польши приходится по 18,6 тыс. зл. Годом раньше наш ВВП составил 685 млрд. зл. *(«Политика», 1 июня)*

⌘ **По мере роста благосостояния мы становимся все более чуткими. Смена стиля жизни поляков отражается и на их отношении к животным. Мы готовы тратить на животных все больше. Множатся магазины, торгующие изощренными товарами для животных, растет число ветеринарных клиник с современным оснащением. В 70-е годы в Варшаве было около 20 ветеринарных лечебниц. Сейчас их около 500. Ветеринары принимают с утра до вечера — благодаря этому у них есть деньги на рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, электрокардиографы. Создается одна из современнейших в Европе клиник, оснащенная компьютерным томографом. Четыре специализированных института ежегодно готовят 400 ветеринаров. Развивается новая область — гериатрия животных.** ***(Катажина Скшидловская-Калюкин, «Ньюсуик-Польша», 2 июня)***

⌘ Впервые после 1989 г. поляки покупают отечественные продукты чаще, чем заграничные. 57% поляков заявляют, что выбирают отечественные продукты, 28% — заграничные. Отечественные марки мы выбираем прежде всего из-за их качества. 86% поляков считают, что польские продукты питания более безопасны и здоровы. Таковы результаты опросов ЦИОМа и ЦИМО. *(«Впрост», 2 июня)*

⌘ **На крупных животноводческих фермах животных (прежде всего свиней) держат без подстилки на металлических трубах или бетоне. Из-за этого животные ранят себе ноги, не могут удобно лечь, а зимой мерзнут из-за отсутствия теплоизоляции, — говорит Марек Крыда из Института охраны животных. В одной из предложенных поправок к закону об охране животных содержится предписание держать домашних животных на подстилке.** ***(«Газета выборча», 4 июня)***

⌘ Сейм принял дополнения к закону об охране животных. Отклонены поправки: о запрете т.н. бесподстилочного выращивания животных и об обязанности обеспечивать им доступ к естественному дневному свету; о запрете экспорта живых лошадей на убой; об обязанности гуманного обращения с лабораторными животными. Принята поправка, разрешающая отстрел кошек и собак, пребывающих без присмотра на охотничьих территориях более чем в 200 метрах от застройки. *(«Жечпосполита», 8-9 июня)*

⌘ **По данным министерства финансов, в 2001 г. налоговые недоимки составили 4,6 млрд. злотых, т.е. возросли более чем на 30%.** ***(«Политика», 1 июня)***

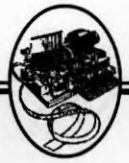
⌘ У поляков все меньше сбережений. В октябре и ноябре 2001 г., а также в апреле 2002 г. банки выплатили больше, чем приняли вкладов. Основная причина — уменьшение доходов граждан. *(«Жечпосполита», 24 мая)*

⌘ **По данным опроса ARC «Рынок и мнение», 85% поляков ограничили свои расходы. 58% опрошенных покупают более дешевые продукты питания и гигиенические средства. Половина общества отказалась от покупки автомобиля, стиральной машины или телевизора.** ***(«Ньюсуик-Польша», 2 июня)***

⌘ Во Всепольский союз безработных записались 5 тыс. человек. Программа новой партии предполагает: введение страхования от безработицы; принятие дополнений к Трудовому кодексу; освобождение от гербового и страхового сбора безработных, начинающих вести хозяйственную деятельность; освобождение пособий по безработице от подоходного налога; запрет на принудительное выселение лиц, ищущих работу, и их семей. *(«Политика», 1 июня)*

⌘ **Через 10 лет после приватизации Щецинская судоверфь вновь станет государственным предприятием. Главные акционеры решили передать свои акции государству за символический злотый. 4 марта, после того как банки отказали судоверфи в дальнейших кредитах, она была вынуждена остановить производство. Переход в государственную собственность должен возродить доверие банков к судоверфи.** ***(«Жечпосполита»,17 мая)***

⌘ «На Щецинской и Гданьской судоверфях работают в общей сложности свыше 10 тыс. человек, а на предприятиях, сотрудничающих с Щецинской



судоверфью — 55-60 тыс. Банкротство судоверфи грозит катастрофическим ухудшением положения этих предприятий и увольнением значительного числа их работников (...) Поэтому до тех пор, пока экономика не достигнет достаточно высокого уровня развития, государство должно стараться на допускать банкротств крупнейших предприятий». *(Павел Яблонский, «Жечпосполита», 25-26 мая)*

⌘ **«Это правительство (...) войдет в историю как первое, которое после 1989 г. национализировало крупную частную фирму. Оно решило взять на себя стоимость дотирования Щецинской судоверфи — плохо управляемой, погрязшей в долгах, ежедневно приносящей убытки (...) Банкротство грозит тысячам предприятий — как государственных, так и частных. Можно ожидать, что во многих из них вспыхнут протесты, так как работники потребуют, чтобы правительство взяло под свою опеку и их. Угасив один пожар, правительство разожжет сотни других (...) Это путь в никуда. А платить, к сожалению, придется всем нам». *(Витольд Гадомский, «Газета выборча», 17 мая)***

⌘ «Это взгляд экономиста. Но его недостаточно. Что делать тысячам людей, которые потеряют работу не по своей вине, не из-за лени, но из-за ошибок хозяев предприятия? (...) Увольняемые судостроители могут не дождаться новых рабочих мест. До сих пор ждать не хотели кредиторы, поэтому судоверфь была обречена на банкротство. Вмешательство государства может означать, что ей дается время — чтобы пережить период плохой конъюнктуры, а может, и улучшить методы управления. Это рискованная стратегия. Частные инвесторы не захотели взять на себя этот риск. Государство может это сделать. А иногда даже должно». *(Юлиуш Равич, «Газета выборча», 17 мая)*

⌘ **Роберт Гвяздовский, эксперт Центра им. Адама Смита: «Законы экономики неумолимы: когда налогоплательщики субсидируют какую-либо отрасль, уровень производства и трудоустройства в ней может временно возрасти, но в долгосрочной перспективе, в масштабе всей страны эффект будет прямо противоположным». *(«Ньюсуик-Польша», 2 июня)***

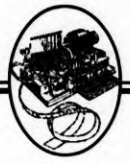
⌘ «Согласно конституции, все изменения, касающиеся государственной собственности, регулируются предписаниями закона (...) Однако закона о приобретении Государственной казной, Польским национальным банком и другими государственными юридическими лицами паев или акций — нет! Следовательно, закон не дает министру государственной казны или даже всему кабинету министров полномочий на приобретение акций судоверфи». *(Михал Зелинский, «Впрост», 2 июня)*

⌘ **Правительству не удалось спасти Щецинскую судоверфь. Аннулировать ее долги не согласились банки-кредиторы. Директор судоверфи объявил: «Сегодня правление решило подать в Щецинский районный суд ходатайство об оглашении банкротства». «Рынок, как всегда, выиграл поединок с политикой», — прокомментировал это событие Витольд Гадомский. Министр внутренних дел и администрации заявил о планируемых арестах бывших членов правления судоверфи, ибо кредиты на строительство кораблей, полученные под залог имущества верфи, были пущены на финансовые операции и покупку акций. *(«Газета выборча» и «Жечпосполита», 15 июня)***

⌘ Появился новый государственный концерн «Польские сталелитейные комбинаты», возникший в результате объединения четырех крупнейших сталелитейных комбинатов страны. Предполагается, что он должен решить проблемы польской металлургической отрасли. Вскоре нечто подобное ожидает многие предприятия, так как правительство сочло консолидацию универсальным средством от недугов, снедающих государственные компании. Однако нет недостатка в голосах, утверждающих, что создание государственных концернов — мероприятие, создающее лишь видимость, а вдобавок еще и дорогостоящее. *(«Политика», 8 июня)*

⌘ **Януш Войцеховский, вице-маршал Сейма, бывший председатель Высшей контрольной палаты (ВКП): «Государственная собственность расточается — об этом свидетельствуют десятки докладов ВКП, а в последнее время также доклад министра государственной казны. Надзор собственника, т.е. министерства государственной казны, — не более чем видимость. Директора государственных фирм распоряжаются сотнями миллионов злотых без всякого контроля». *(«Впрост», 9 июня)***

⌘ Януш Левандовский, бывший министр по делам преобразования форм собственности: «Отличить болезнь (партийное засилье в экономике) от лекарства (приватизации) — проще пареной репы. Поэтому меня поражают дискуссии в сегодняшней Польше, большинство участников которых предпочитают бороться с лекарством, а не с болезнью». *(«Газета выборча», 31 мая)*



⌘ **Рышард Петру из Всемирного банка: «Закон [о финансовой поддержке инвестиций] ничего не изменит. Сначала надо ограничить коррупцию и бюрократию, усилить инфраструктуру. В Польше слишком многое зависит от решения чиновника, правила запутанны, процедуры затянуты, суды закупорены. Каждый инвестор предпочитает инвестировать там, где действуют простые и ясные принципы». *(«Газета выборча», 10 июня)***

⌘ «Малые теплоэлектроцентрали уже начинают создавать конкуренцию, а это влияет на цены тепловой и электрической энергии, поставляемой монополистами. В этом году концерн «Польская нефте- и газодобывающая промышленность» (ПНГП) снизил цены на газ для промышленных потребителей на 10%». *(«Впрост», 2 июня)*

⌘ **Польское сельское хозяйство поражено кризисом перепроизводства, следствием которого стало падение цен и все возрастающие опасения, что на часть сельскохозяйственных продуктов не найдется покупателей. *(«Жечпосполита», 23 мая)***

⌘ Менее чем 5 гектарами земли владеют около 55% польских крестьянских хозяйств. Доход, сравнимый с доходами работников несельскохозяйственных секторов, обеспечивают лишь хозяйства площадью по меньшей мере в 20-30 га, однако они составляют всего 5% от общего числа. Зато растет число хозяйств, не производящих ничего, даже для собственных нужд: в 1998 г. их было 2,2%, в 2000 г. — уже 10,6%. По данным ГСУ, сегодня их около 200 тысяч. Это скорее недвижимость, чем земельные хозяйства. Их владельцы живут наемным трудом, существуют за счет социальных пособий или же имеют другие источники доходов. *(«Жечпосполита», 4 июня)*

⌘ **«Вчера Анджей Леппер [депутат Сейма и председатель «Самообороны»] со своими сторонниками бушевал в коридорах министерства сельского хозяйства. Были выбиты стекла и двери, в дело вмешалась полиция. Это был протест против политики правительства в стиле «Самообороны» (...) Ради блага государства Леппер должен быть политически изолирован (...) Если этого никто не сделает, он и дальше будет чувствовать себя безнаказанным. И будет крушить не только мебель, но и Третью Речь Посполитую». *(Кшиштоф Готтсман, «Жечпосполита», 16 мая)***

⌘ Согласно опросу Лаборатории социальных исследований (ЛСИ), в марте «Самооборону» поддерживали 11% граждан, сейчас — уже 17%. В апреле партию Леппера поддерживали 18% поляков (данные анализа института «Пентор»). Стремительно растет поддержка партии, которая объявила войну истеблишменту, отвергает свободный рынок и не хочет, чтобы граждане сами отвечали за свою судьбу. «Самооборона» хочет государства коллективистского равенства, государства автократического и ксенофобского. То же самое происходило после I Мировой войны в Италии и Германии. *(Богуслав Мазур, «Впрост», 26 мая)*

⌘ **«Если мы действительно хотим, чтобы страна не погрузилась в хаос, нельзя потакать его главному сеятелю — Лепперу (...) Это опаснейший поджигатель, окруженный сворой подобных ему авантюристов, у которых, к сожалению, есть депутатские мандаты. Они не предотвратили, не искоренили ни одного человеческого несчастья, хотя выросли на нем. Они не в состоянии этого сделать, да им этого и не нужно. Наоборот, они хотят, чтобы в стране были отчаявшиеся. Они хотят — и делают для этого все, — чтобы у тех, кто что-то налаживает, ничего не вышло, хотя знают, как тем трудно. Они хотят зла, потому что из человеческих бед, из поисков простого выхода они черпают свою силу». *(Вальдемар Кучинский, «Газета выборча», 17 мая)***

⌘ Среднестатистический приверженец «Самообороны» имеет неполное среднее или профессиональное образование, живет в деревне, ведет хозяйство и получает минимальные доходы — до 300 злотых в месяц на члена семьи. Доходы второй группы сторонников партии Леппера составляют 400-500 злотых на члена семьи. Как правило, это люди, торгующие на рынках. Третья группа — это неквалифицированные рабочие, которым грозит безработица, или же безработные. *(«Жечпосполита», 20 мая)*

⌘ **Согласно исследованиям проф. Збигнева Квецинского из торунского Университета им. Николая Коперника, свыше одной пятой 15-летних подростков функционально безграмотны или полуграмотны. «Более 20% школьников не понимают простых логических связей в тексте на родном языке. Именно они будут адресатами политического популизма», — говорит проф. Квецинский. *(«Газета выборча», 23 мая)***

⌘ 5953 иностранца учатся в Польше на дневных отделениях вузов. Самое популярное среди них направление — медицина. Выше всего ценятся дипломы Медицинской школы для иностранцев при врачебном факультете Collegium Medicum краковского Ягеллонского университета. Там учатся 120 человек из Норвегии, 50 — из США, 40 — из Канады, а также граждане Великобритании, Франции, Швеции, Бельгии, Словакии, Австралии, Литвы, Китая, Кении, Нигерии, Судана и Замбии. *(«Впрост», 16 июня)*

⌘ В Польше растет число профессий, доступ к которым охраняют элитарные профессиональные органы самоуправления, имеющие право решать, кто и на каких основаниях может стать их членом. Свои органы самоуправления уже есть у юристов, врачей, судебных исполнителей, ветеринаров, аптекарей, архитекторов, градостроителей, инженеров-строителей. На очереди физиотерапевты, лабораторные диагностики, трубочисты и журналисты. ***(«Политика», 1 июня)***

⌘ Согласно 470-страничному докладу представителя по гражданским правам проф. Анджея Цолля, чиновники не понимают, что они призваны служить гражданам, беспомощным перед лицом несметного множества юридических предписаний, за которыми прячутся представители власти. *(«Жечпосполита», 17 мая)*

⌘ Всемирная ассоциация газет (World Association of Newspapers) осудила действия польских властей, в результате которых трое польских издателей не смогли принять участие во Всемирном конгрессе газет в Бельгии. В резолюции содержится также критика законопроекта о телевидении и радиовещании, ограничивающего права частного капитала в СМИ в пользу государственных программ. ***(«Жечпосполита», 28 мая)***

⌘ Проф. Рышард Борович из торунского Университета им. Николая Коперника: «В небольших городках за депутатом стоит вся местная власть, а за журналистом — только малюсенькая редакция, иногда очень бедная. Я считаю, что эти журналисты из маленьких городков — истинные герои демократии. Если бы не их ежедневный труд, состоящий в наблюдении за действиями властей, у нас было бы больше коррупции, больше кумовства, больше пренебрежения к посетителям». *(«Газета выборча», 29-30 мая)*

⌘ Депутаты Львовского горсовета отклонили украинско-польское международное соглашение о реконструкции кладбища Орлят, на котором покоятся останки поляков — в основном неизвестных юношей и девушек, — погибших в польско-украинских боях в 1918-1919 гг., а также польских солдат, погибших в польско-большевистской войне 1920 года. В 50-е и 70-е годы по указанию советских властей кладбище было разрушено. Его восстановление началось в 1989-м. Открытие кладбища, изначально назначенное на 20 февраля 2002 г., было отменено после протестов львовских депутатов. То же самое произошло и со следующим сроком, назначенным президентами обоих государств на 21 мая — годовщину подписания Польско-украинской декларации примирения. ***(«Газета выборча», 17 мая)***

⌘ Фрагменты заявления президента Александра Квасневского: «С горечью и разочарованием воспринял я решение украинской стороны относительно кладбища львовских Орлят. Отклонение соглашения, подписанного в декабре прошлого года президентами Польши и Украины, не способствует духу примирения и партнерства между нашими народами (...) Речь идет об увековечении памяти польских жертв, покоящихся в украинской земле, о том, чтобы дать свидетельство истории в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами. Теми стандартами, которыми мы стараемся руководствоваться в Польше, в т.ч. и по отношению к украинским кладбищам и могилам (...) я не в состоянии понять решения, принятого властями Львова (...) В сложившейся ситуации я вынужден констатировать отсутствие условий для того, чтобы 21 мая достойно, в тишине и спокойствии совершить торжественное открытие кладбища львовских Орлят. В связи с этим я выражаю свое глубокое сожаление». *(«Жечпосполита», 18-19 мая)*

⌘ В телефонном разговоре с президентом Александром Квасневским президент Украины Леонид Кучма выразил сожаление в связи с тем, что запланированное на 21 мая торжественное открытие кладбища львовских Орлят не смогло состояться. Кучма извинился перед Польшей и лично перед президентом Квасневским. ***(«Жечпосполита», 20 мая)***

⌘ Яцек Куронь: «Давайте посмотрим правде в глаза: в конфликте вокруг кладбища Орлят дело вовсе не в надписях. Дело в том, что львовский пантеон — это символ триумфа польского оружия в самом сердце Украины. Поэтому если уж мы хотим

что-нибудь дописать, давайте напишем на обоих языках: «Геройски павшим в борьбе за независимость Польши... Украины... в братоубийственных боях»». *(«Газета выборча», 23 мая)*

⌘ Анджей Валицкий: «Можем ли мы, современные поляки, становиться в позу благородных арбитров нравственности в отношениях между народами? Члены краковского магистрата убрали из своего города памятник маршалу Коневу, который спас Краков от разрушения и до конца жизни был полонофилом».

⌘ Министр культуры Польши и президент (мэр) Варшавы передали в дар иерусалимскому институту «Яд Вашем» 130 кв. м брусчатки, 25 метров старых поребриков и 25 метров трамвайных рельсов с улиц варшавского гетто. «По ним ходили прежние жители, люди шли в синагогу, а потом — на Умшлагплац [к поездам, которые повезли их в Треблинку]», — сказал посол Израиля Шевах Вейс. «Предметы, переданные нами Иерусалиму, не имеют особой исторической ценности для Польши», — сказал президент Варшавы Войцех Козак. *(«Газета выборча», 7 мая)*

⌘ Олег Закиров, бывший офицер КГБ, который, рискуя карьерой, а может быть, и жизнью, собрал доказательства катынского преступления, получил польское гражданство. 10 мая президент Квасневский предоставил его семье Закировых, живущей в Польше уже несколько лет. ***(«Газета выборча», 15 мая)***

⌘ В одиночное путешествие из Варшавы во Владивосток на автомобиле ГАЗ-69 отправился Тадеуш Столяжевский. *(«Газета выборча», 3 июня)*

⌘ Польша занимает 17-е место в Европе по числу убийств, 16-е по числу разбойных нападений, 9-е по числу краж автомобилей, 16-е по общему числу краж и 19-е по числу мелких мошенничеств. Гораздо хуже (иногда в четыре раза) выглядит ситуация в Швеции, Норвегии, Германии, Франции, Великобритании и Австрии. В Польше также на 20% меньше преступлений (пропорционально), чем в Чехии и Венгрии. ***(«Впрост», 9 июня)***

⌘ В конце 1997 г. тюремное заключение отбывали 67 человек, осужденных по статье об организованной преступности; в середине августа 2001 г. их число возросло до 752, а в начале апреля 2002 г. — до 1200 человек. *(«Жечпосполита», 23 мая)*

⌘ Генерал Мечислав Клюк: «До пятницы полицейский в случае опасности сначала должен был крикнуть: «Полиция!», затем призвать «к соблюдению закона», а если и это не помогало — произвести предупредительный выстрел в воздух. Только после этого он мог стрелять в преступника. Теперь [после внесения поправок в закон о полиции] он может стрелять без предупреждения». ***(«Газета выборча», 27 мая)***

⌘ Вдова одного из двух полицейских, погибших 20 мая в силезском городе Чеховице-Дзедзице от рук преступников: «Люди жалуются, что полиции никогда нет там, где она нужна. Напишите, что мой муж был там, где должен был быть, и его застрелили». *(«Газета выборча», 25-26 мая)*

⌘ Станислав Лем: «В наше время человечество подобно набухшей реке. В разных местах появляются неконтролируемые потоки, и это беспокоит (...) Демократия демократией, капитализм капитализмом, но общество нужно удерживать в определенных рамках». ***(«Жечпосполита», 1-2 июня)***

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Премии президента Республики Польша в области экономики за 2002 г.



Изобретение — голубой лазер, сконструированный проф. Сильвестром Поровским и коллективом варшавского Центра исследований высокого давления «Унипресс» Польской АН. Благодаря лазеру можно будет создавать значительно более эффективные принтеры, увеличивать объем дисков DVD, откроются новые перспективы развития военной техники. Голубой лазер занял первое место также в рейтинге важнейших польских изобретений, опубликованном недавно журналом «Пшеглёнд».

Заграничная инвестиция — краковская фирма «Delphi Automotive Systems», производящая электропровода, амортизаторы, системы управления, переключатели, теплообменники, радиаторы и поглотители выхлопных газов.

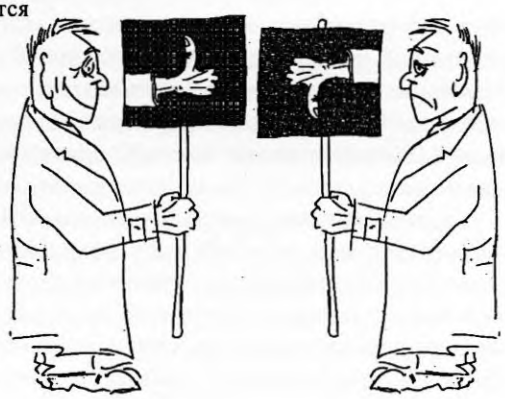
Сельское хозяйство — Центр племенного растениеводства и животноводства ООО «Осенцины». 69,5 ц зерна, 79 ц кукурузы, 39 ц рапса с гектара и 9030 л молока в год от одной коровы — результаты, вызывающие уважение даже в стимулируемом химически западноевропейском сельском хозяйстве. Центр поставляет животных с превосходным генетическим материалом.

Экспортер — АО «Интер Гроцлин авто», один из крупнейших в Европе производителей и экспортеров автомобильных аксессуаров. Специализируется прежде всего в производстве обшивок сидений для автомобилей «Вольво», «Рено», «Ситроен», «Фольксваген», «Мицубиси» и «Порше». Почти вся продукция фирмы идет на требовательные рынки Евросоюза.

Финансовая компания — сопотское страховое общество «Эрго Хестия», входящее в первую тройку польских страховых компаний, специализирующихся в страховании имущества. Его главный пайщик — международная страховая группа Munich Re/Ergo. Агентства, оценивающие надежность фирм, выставили «Хестии» отличные оценки.

Польское малое предприятие — частный механический завод ВИМЕТ из подваршавского Юзефова. Фирма на сто процентов польская, занимается металлообработкой, производит приборы точной механики, оборудование для автостоянок и охраняемых территорий, а также гидравлические механизмы.

Польское предприятие — группа «АТЛАС» из Лодзи, один из крупнейших в Европе производителей клеев для керамики, строительных и гипсовых растворов, теплоизоляционных систем, грунтовок. Крупнейший наряду с Польшей потребитель продукции фирмы — Россия. Восемь фабрик «АТЛАСА» расположены в Польше, девятая строится под Москвой.





Стефан Братковский

ОТ «ГОСПОДИНА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА» — К «АТЛАНТИДЕ, ТАК БЛИЗКО»

Начну теми же словами, которыми я открыл свою первую книгу об истории Новгорода Великого — об истинном рождении Руси. Чтобы пояснить, с чего это вдруг поляк взялся за такую тему...

Итак — они были среди нас и играли джаз. Играли джаз в брубековском стиле, изысканный, интеллектуальный, но теплый, непосредственный, по-русски мелодичный. Играли американские стандарты так, словно на них выросли, а мы слушали да радовались.

Мы любили джаз — мы не мирились с ложью страшного времени, которое кончалось вместе с польским Октябрем 1956 года. Эти русские, игравшие джаз, были нашими братьями.

Одна из тем, которые они играли, называлась иначе, чем американские стандарты, — странно и непонятно: «Господин Великий Новгород». Никто не знал, что бы это могло значить. А они ничего не объясняли. Они просто играли. И никто из участников варшавского «Джаз джембори» 1957 г. так и не узнал, что квинтет Вадима Сакуна импровизирует в честь убиенной республики. А соло Вадима были завораживающими.

Я по сей день не знаю, откуда взялась у джазменов эта тоска, навеки проклятая много веков назад. Помню, один мой приятель оттуда, из России, человек широко образованный и полный горечи до донышка души, говаривал в 80-м году, меланхолически глядя на варшавскую «Солидарность»: «Ну что ты хочешь, у нас ведь нет не только воспоминаний о демократии, у нас не осталось воспоминаний даже о том, как мечтают о демократии».

Саша был не первым русским пессимистом. И на фоне прочих его пессимизм был не так уж и глубок. Помню, какое потрясение я пережил, когда много лет назад в «Истории России» нашего Людвика Базылёва наткнулся на цитаты из Чаадаева, бывшего гвардейского офицера, друга декабристов, философа, проклятого как в России царской, так и в России советской. В 1836 году, по недосмотру цензора, он опубликовал «Философические письма», где сказал все, что думает о собственной стране. По мнению Чаадаева, ни в прошлом, ни в настоящем России не было и нет ничего положительного, никакого света, никакого прогресса, да и будущее не сулит ничего хорошего. Ибо Россия всегда шла своим путем, не участвовала в развитии цивилизации Запада, а христианство, принятое из Византии, не давало ей ни совершенствоваться, ни развиваться. Потому Россия не только не изведала самостоятельного развития, но и не смогла воспользоваться чужим опытом. Ранняя история России — дикое варварство, а все, что было после, — унизительное иго, навязанное монгольскими захватчиками. «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру... — писал Чаадаев. — Наблюдая нас, можно бы сказать, что здесь всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины... Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревешек и соломы» («Письмо первое»).



Загадку композиции Вадима Сакуна я раскрыл случайно, почти через тридцать лет: в 1985 году искал что-то в седьмом томе польской «Энциклопедии повшехной» на букву «Н», и случайно открылась страница со статьей «Новгород Великий». Там я и нашел ответ: Вадим Сакун просто играл то, во что верил, — не мог он иначе в те времена выразить свое кредо. В 1136 г. город-республика Новгород Великий принял имя «Господин Великий Новгород».

Вот почему я стал искать Новгород Великий. Тогда еще не зная, что открою иную Россию, настоящее рождение Руси. Это отняло у меня пятнадцать лет — захватывающих пятнадцать лет...

Оказывается, было у России и демократическое прошлое, и воспоминание о нем. Великое, необычайное. Но именно — было. Потому что воспоминание это убили и вымарали из национальной памяти. Очень-очень давно.

Ивану Грозному и его последователям, чтобы оправдать свои деяния, необходимо было некое «древнерусское государство», прообраз державы московских царей, — некое наследие, высокий, обязывающий завет предков. В действительности никому не удавалось надолго заставить все племена Древней Руси хотя бы платить дань одному князю — мудрый летописец Нестор лишь бегло упоминает князей, которые сумели какое-то короткое время собирать дань у значительного большинства. Так что в истории русских земель не было никакой «Киевской» Руси как прототипа царской державы. Была Древняя Русь, и были, разумеется, великие киевские, а изначально — новгородские, князья, иногда собиравшие дань почти у всех, но их могущество опиралось вовсе не на один только Киев, цветущий центр торговли и культуры. У спокойных полян, прирожденных земледельцев и прекрасных кузнецов, населявших здешние места, характер был отнюдь не бандитский. Сила киевских князей долгие, долгие годы держалась на... Новгороде Великом.

Потом народы Руси сотни лет учились тосковать по всерусской мирной общности; тоске учили бесчисленные братоубийственные войны между русскими князьями, учили набеги степных кочевников, сражаться с которыми поодиночке было нелегко. Позднее урок мечты о всеобщей мобилизации преподнесли Руси татары, но для такой мобилизации Русь была просто слишком обширна (как-никак третья часть территории христианской Европы), да и слишком разнородна.

Впервые — о чем вспоминают неохотно — русские земли вполне объединили именно татары в первой половине XIV века: сбор дани от имени хана, «царя» Золотой Орды, они доверили местному русскому феодалу — московскому князю. Отсюда, должно быть, и пошло убеждение, что научить Русь уму-разуму, то есть чувству единства, можно только силой. Русь была, по мнению московских князей, слишком глупа для того, чтобы понять, в чем состоит ее собственный интерес. Так что объединяли Русь мозги сугубо татарские, хоть и местного происхождения, и делали они это вполне татарским способом. Именно у татар была заимствована культура, по правилам которой властитель не вступает в переговоры с подданными. У Византии властители Третьего Рима взяли только чувство священной миссии.

Новгород Великий влачил на себе бремя великих, в понимании Ивана Грозного, грехов. Его, правда, уже не титуловали «Господином Великим Новгородом», но он по-прежнему мог смотреть на Москву свысока — ведь когда Новгород правил большей частью земель северной Руси, то есть землями будущей России, Великороссии, имя Москвы еще даже не встречалось в летописях и документах. Если у кого и было право ссылаться на наследие Древней Руси, то прежде всего — у Новгорода Великого. Он участвовал в ее создании и хранил ее наследие, потому что татарские ханы никогда не овладели им, как остальными завоеванными землями...

Дальнейшее существование Великого Новгорода делало невозможным право царя на наследие Киевской Руси. Хуже того, Новгород Великий самим своим существованием подрывал царское чувство собственности даже на ближайшую традицию Руси Великой: традицию давних суздальских, ростовских и владимирских земель (ибо чем были эти земли во времена расцвета Великого Новгорода?). Прошлое Руси принадлежало ему, Великому Новгороду, а посему надлежало это прошлое уничтожить вместе с ним — дабы завладеть будущим. Если бы Новгород выстоял, все сложилось бы иначе. История Руси пошла бы подругому. И уж конечно, не под диктовку Ивана Грозного.



За исполнением приговора надзирали преемники, а вместе с ними — историки. Циничные придворные лизоблюды наравне с патриотами. Они ставили свои подписи, подписи кабинетных книжных червей, под приговором Ивана Грозного, царя, который властвовал над прошлым и будущим. Сотни лет официальная история России держалась подальше от истории Новгорода. Несмотря на то, что прошло много времени, простить Новгород было невозможно, и помиловать его никто не мог себе позволить; смысл приговора понимал всякий человек власти, даже иноземец по крови. Историки же — не кто иной как историки из школы «государственников» — убеждали соотечественников, что рецептом величия и могущества России может быть только сильная власть, которая не вступает с гражданами ни в какие соглашения. Их горизонт был ограничен величием и могуществом царизма, потом — советской России. Никакой иной вариант патриотизма им и в голову не приходил.

Прошлое самодержавия работало на царей. Новгород Великий мог распалять воображение только их врагов. Не случайно Новгородом увлекались эти ужасные декабристы. А потом Герцен, этот подрывной элемент без чести и совести, напишет: «Москва спасла Россию, задушив все вольное в русской жизни».

С Новгородом не мог примириться и «дух России», ее философия. Руси чуть ли не с самого крещения полагалось быть чем-то исключительным; неким сверхъестественно, полумистически исключительным «третьим Римом», хотя фактически «исключительной» стала лишь Москва, вотчина честолюбивых, воинственных князей, да и она веками обходилась без всякой «русской идеи». Идею эту породит лишь XIX век, век империи, и она овладеет крупнейшими умами России. Над мессианскими вариантами «английской», «французской» или «американской» идеи никогда не трудились мыслители такого масштаба — хотя XX век явно был веком «американским», так же, как XVIII-й — «французским», а XIX-й — «английским».

Наследие Чаадаева воспринял Алексей Хомяков, отец славянофильства. Бывший офицер царской гвардии, он в своем чаадаевском чувстве трагизма русской судьбы не видел для отчизны иного варианта власти, кроме самодержавия. Новгород Великий в его построения не вмещался.

Следующий мудрец, Константин Леонтьев, высокопоставленный царский чиновник, цензор, далекий от чаадаевской печали, предполагал нравственно возродить Россию через христианство и византийскую цивилизацию. Он презирал свой народ, который, по его мнению, не дорос до свободы, склонен к анархии, бесплоден в сфере какой-либо организованной деятельности; тут единственным лекарством был статус-кво.

Николай Федоров занимался не спасением отдельной личности, а «общественным спасением» — разумеется, полагая русских первыми в очереди к этому спасению. Он проповедовал «космизм» и, по словам своего последователя Бердяева, первым приобрел «опыт активного понимания Апокалипсиса», — хотя сам до Апокалипсиса, т.е. до большевистской революции, не дожил. В эти космические координаты нормальная жизнь республиканского Новгорода тоже не вписывалась. Все здесь было не так, как везде, все поражало воображение посторонних. Великий поэт, тончайший лирик Федор Тютчев, тоже бывший дипломат и бывший цензор, провидя тайное тайных, возглашал: «В Россию можно только верить». Владимир Соловьев, знаменитейший из русских религиозных философов, благородный Соловьев, долгое время либерал, близкий к народникам, ясно дал понять, о чем идет речь на самом деле: любой серьезный ум, наблюдая великий исторический феномен, каковым является Россия, должен задуматься над основами ее бытия во всеобщей истории — и искать ответ в вечных истинах религии. Ибо идея народа — это вовсе не то, что он думает о себе сам, но то, что думает о нем Бог в вечности.



Новгород был слишком прозаичен на фоне требований, предъявляемых вечностью. Мистицизм охватывал уже не отношения личности с Богом, а отношения самодержавной России с Вседержителем. Не всегда тут была взаимность; Соловьев, певец «всеединства», ушел из этого мира в катастрофических предчувствиях, травмированный Европой, неспособной воспринять его видения и то, что он предлагал.

Бунтарский эпиграф из Соловьева взял к своим «Скифам» Александр Блок: «Панмонголизм! Хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно». Блок — из крайности в крайность — терзался угрызениями совести о покоренной Варшаве, но еще перед I Мировой войной строками «Скифов» вопрошал Европу: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжелых, нежных наших лапах?».

Известнейший из последователей Соловьева Николай Бердяев заплатил за свой «легальный марксизм» изгнанием из университета и ссылкой, что, быть может, и отучило его от радикализма. Его друга Сергея Булгакова отвадило от марксизма, даже легального, доцентство в университете; он отказался от устаревшей, по его мнению, интеллигентской «моноидеи борьбы с самодержавием». Бердяев не отказывал своим соотечественникам в организационных способностях, тем не менее плодом русской натуры считал анархизм: бегством от государства русские отвечают на грехи власти, ибо реагируют на эти грехи болезненней, чем другие народы. При всем при том, когда «болезненность» реакций вылилась в революцию 1905 года, Бердяев присоединился к «богоискателям» — чтобы обратиться к человеческой личности. Конечно, к личности абстрактной, а не к той, которую поливали свинцом жандармы и охаживали нагайками казаки, не к той, которая бросала бомбы, и, уж тем более, не к той, которая (на деньги — парадокса ради — польского филантропа Шанявского) учредила в Москве общедоступный университет.

Позднее, ускользнув от советской власти, Бердяев обнаружил, что сам русский народ есть клубок противоречий, но вот русское православие несет идею жертвенности, дух скромности и смирения. В мире, подвластном князю тьмы, а не Богу, русский подвиг состоит в том, чтобы покорно сносить оскорбления и насмешки мира подобно «кенозису» Иисуса — Мессии, который добровольно унизил себя, чтобы затем вознестись одесную Бога-Отца.

Таков был вариант интерпретации страданий, выпавших русским в советские времена, однако в конце пути, после побед Красной Армии во II Мировой войне, Бердяев в своем «Самопознании» заявил, уже без «кенозиса», что верит в «великую миссию России». Он признал свой народ «народом будущего», способным разрешить проблемы, которые Запад неспособен не только разрешить, но даже и сформулировать во всей их глубине!

Вроде бы ничего нового: в XIX веке Федор Достоевский объявил русских ни более ни менее как «народом-богоносцем», а всякого русского — «всечеловеком», наделенным чувством ответственности за все человечество. Ни ему, ни Бердяеву не приходило в голову, что достаточно принять на себя хоть малую реальную ответственность по крайней мере за людей в ближайшем окружении. Ведь именно «всемирные» обязанности как бы давали правителям России право строить глобальные планы и совершать связанные с ними ошибки — за счет страны и народа. Смерть Новгорода Великого относится к издержкам этой «всечеловеческой» ответственности.

По другую сторону социальной баррикады аналогичные взгляды исповедовал Ленин. Он лечил комплекс неполноценности русской интеллигенции военной организацией революционной партии; для этой партии русские тоже были первыми на очереди к спасению, проблемой было только одно — как заставить их, чтобы они дали себя спасти. Один и тот же «русский дух» царил по ту, и по другую сторону. Для Новгорода Великого не было места ни тут, ни там.

■

Не все в России подчинились Ивану Грозному. Доказательство — ставший ныне классическим труд историка права В.И.Сергеевича «Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей» , изданный в 1867-м. Годом позже, то есть через два года после окончательного «усмирения польского мятежа» (восстания 1863 гг.), Сергеевич благодаря мудрому ректору С.М.Соловьеву (отцу философа) был уже профессором Московского университета! Он писал:



«Событием первостепенной важности, открывшим путь к новой системе отношений, было татарское иго... Татарское нашествие впервые познакомило русские княжества с властью, с которой невозможно искать соглашений и которой следует покориться безоговорочно. Почва, необходимая для того, чтоб вече продолжало действовать, сразу была уничтожена».

«Русскому духу» не соответствовала уже сама тематика исследований Сергеевича. Ибо «русский дух» попросту игнорировал людей, естественным образом рассудительных и приличных. Для него был невыносим Чернышевский, разумный сторонник Фурье, которого Ленин переделал в «революционного демократа». Неприемлем был и Сергей Соловьев, позитивист, замечательный историк. Будучи ректором Московского университета, он в 1877 г. отказался от своего поста, проиграв бой за университетскую автономию. Обладавший огромными познаниями, трудолюбивый, конструктивно мыслящий эрудит, он никогда не утрачивал здравого смысла, сознавая, какую дистанцию надо преодолеть России по отношению к западу. Тогда как Чаадаев, да-да, тот самый Чаадаев, автор проникнутого безнадежностью диагноза, поставленного России, русскому духу и православию, в конце жизни благословил изоляцию России от мира, так как благодаря изоляции христианская вера России могла противостоять земным соблазнам!

С.М.Соловьев не создал истории Новгорода Великого, но в своей истории России описал его смерть гораздо более страшными словами, чем я. Благодаря поддержке Соловьева историк права Иван Дмитриевич Беляев написал единственную книгу о Новгороде — «Историю Новгорода Великого от древнейших времен до падения». Книгу неоконченную: Беляев прервал ее на XV веке — может, чтобы не дразнить цензуру рассказом о резне 1570 г., а может, ему просто не дали опубликовать полный текст. Труд Беляева был надолго предан абсолютному забвению. В царские времена о нем умалчивал «Энциклопедический словарь», потом — советские энциклопедии. Историография замалчивала Новгород.

Владимир Соловьев отверг и Беляева, и собственного отца: он начал с магистерской диссертации «Кризис западной философии: против позитивистов», восхищался тютчевской идеей «христианской русской монархии».

Борис Греков, историк, родившийся за 35 лет до октябрьской революции, но всей душою советский человек, впрочем, ученый, великолепно знавший источники, лишь на склоне лет завершил свое фундаментальное, громадное исследование Киевской Руси (публикации Греков не дождался — так уж его труд старательно корректировали). Новгород Великий он терпеть не мог — во имя советской власти, которая тоже не считала нужным объясняться с гражданами. В 1936 г. на страницах «Историка-марксиста» в статье «Основные задачи истории Новгорода» Греков дал коллегам директиву по единственно правильной интерпретации вопроса: «Наша задача — показать действительную специфику этой боярской республики, в которой люди труда подвергались большему угнетению, чем где бы то ни было».

Требовалось найти подтверждение тому, что абсолютизм на Руси имеет тысячелетние корни — хотя «боярская дума», совет удельных князей и бояр при великом князе, сохраняла свои позиции вплоть до эпохи Ивана Грозного, лишь он сравнял ее с могильной землей. Греков разоблачал Новгород Великий: его разложило чуждое Руси республиканство, миазмы польской шляхетской анархии. Поэтому в книге Грекова о Киевской Руси мы не найдем ни слова о том, как осенью 1136 г. Новгород Великий принял гордое имя «Господин Великий Новгород». Ничего такого просто не было. Не должно было быть — значит, не было.

Сразу же поясню: республика Новгорода Великого была старше, чем традиция польской шляхетской демократии. Но, как и польская шляхта, Новгород Великий, став сверх меры богатым и обильным, расслабился. Богатейшая община Руси утратила инстинкт самосохранения и даже не сумела вовремя нанять профессиональных бойцов — хотя бы тех же чешских гуситов, наследовавших традиции Яна Жижки, — да-да, чехи были тогда самыми доблестными воинами Европы! — хотя бы тех же самых, что за прусские деньги выиграли войну с Тевтонским орденом для престола Королевства Польского.



Советская власть гарантировала тем, кто стоял в очередях за водкой и хлебом, по крайней мере гордость за то, что страна покоряет космос. Но и недавняя, вышедшая в 1992 г. книга признаёт «собирание русских земель», «объединение» Руси московскими царями необходимым, неизбежным и прогрессивным. Автор не замечает, что Иван Грозный разорил государство и оно несколько десятилетий не могло прийти в себя — проигрывая сражения уже не королям Польши или Швеции, а всевозможным авантюристам, отбросам общества шляхетской Польши, которые годами бесчинствовали и свирепствовали в России во времена Смуты...

В то же время книжные черви великой Руси не желали замечать, каким немалым куском мира завладела маленькая нидерландская демократия. Их зависть вызывало развитие Англии в XV веке, но они так и не открыли для себя, что без демократии Англия не была бы Англией, как Соединенные Штаты не стали бы Соединенными Штатами. Для них как для патриотов великой Руси демократия означала слабость, а виной Великого Новгорода было то, что он потерпел поражение.

Поражения не могли простить Новгороду даже противники царизма, даже западники. Как и Белинский, они не замечали, что республиканский Новгород жил почти семьсот лет, почти в два раза больше, чем царизм, и только Венецианская республика превзошла его продолжительностью существования.

Демократии, как доказывает история, связаны с развитием торговли. Демократия — и условие успешной торговли, и ее продукт. Развитие торговли влечет за собой рост благосостояния, благосостояние же в свою очередь с годами рождает политический эгоизм, утрату политической ориентации и постепенное угасание даже политического инстинкта самосохранения. Все это правда. Немало старых, великих демократий, начиная с афинской и кончая шляхетской Польшей, разложились именно в такой последовательности самоуничтожения. Но были и другие — те, что сумели учесть новые геополитические обстоятельства, сохранив свой облик и динамичность (современные нам демократии в большинстве своем молоды, как раз приближаются к своему апогею). Новгород Великий не совладал со своим благосостоянием, но, как и Венеция, не породил своих монархов — в отличие от Римской республики или средневековой Флоренции.

Никакое «предопределение» не заставляло великую Русь выбирать путь Ивана Грозного. «Предопределение» было навязано ей московскими князьями, вассалами татарских ханов. Иными словами: московский вариант был лишь одним из возможных вариантов будущего. Правда, история обычно выбирает варианты социальных процессов, требующие от общества в целом минимального усилия (оттого зачастую варианты самые дурацкие), однако мы действительно не должны воспринимать «миссию» царей всея Руси в качестве единственно возможного пути для княжеств Руси и России в целом. История Новгорода Великого показывает, что существовал путь совершенно иной, причем не менее «русский». А может быть, даже более русский, если радимичи и вятичи, «ляхи», отцы Москвы, получившие имя от угро-финского «черного камня», действительно пришли из польских земель.

Я надеялся (и надеюсь), что два тома моего повествования о том, как родилось государство «Господин Великий Новгород», пригодятся в качестве доказательства, что иной путь был возможен, и в качестве своего рода скромного предостережения демократиям, которые, разжирев от благосостояния, имея всё, могут всё потерять, если полагают, что нескольких сот лет истории самих по себе достаточно для того, чтобы продержаться еще несколько сот лет...

Убитое прошлое отозвалось в былинах, открытых собирателями фольклора в XIX веке. А в XX веке Новгород начал возвращать России Артемий Владимирович Арциховский, ученый, страстно преданный археологии Древней Руси. Сегодня мы не сознаём, как он рисковал, приступая к раскопкам в

Новгороде, тревожа запретное прошлое, — он, беспартийный потомок обрусевшего польского шляхтича с Кресов [польских восточных окраин], человек с явно классово чуждой фамилией. Прежде он исследовал курганы вятичей, отцов Москвы, которые будто бы явились «от ляхов», — это тоже было археологией высокого риска; но, к счастью, НКВД не читало Нестора.

Его ученик и продолжатель его дела, замечательный ученый Валентин Лаврентьевич Янин родился, когда Арциховский начал копать в Новгороде Великом. Родился в том самом городе «двусмысленного» новгородского прошлого, в городе, чье имя дважды изменяли, чтобы вымарать это прошлое из истории. Уже одно только место рождения в сочетании с темой изысканий, в которые со всей страстностью включился Янин, указывало на его подрывные наклонности.

Янин, историк трудолюбивый, скрупулезный и многосторонний, написал немало работ о Новгороде Великом. Постепенно, когда уже было можно, он готовил русское общественное мнение к восприятию отсеченной традиции Древней Руси. Содействовал появлению десятков чужих исследований и публикаций, воспитал все новое поколение школы Арциховского, но истории необычной купеческой республики так и не написал.

История самого обширного государства европейского средневековья, уникальная на фоне той эпохи, история цивилизации, которая могла предначертать Руси совершенно иной путь, до сих пор — если не считать книги Беляева — остается нерассказанной.

Новгород Великий начал разговор с археологами сам — через 380 лет после своей смерти, — словно судьба сочла, что нельзя более мириться с претензиями силы, перечеркивающей по своей прихоти и факты, и людей, и мысли.

В нежной сокровищнице торфяника сохранились не только монеты, но и деревянные музыкальные инструменты. Сохранились печати и шахматы, тем более — свинцовые пломбы. Всего полтораста тысяч самых разных предметов. А среди них и то, что важнее всего: куски березовой коры — сотни, тысячи берестяных грамот, на которых, к счастью, писали не чернилами, а костяными резцами, так что почти все записи удалось прочесть и через шесть-девять веков.

Янин полагает, что новгородская земля таит около двадцати тысяч грамот... Вместе с берестой из-под земли встает живой Новгород со своими буднями и повседневной речью: здесь счета, купчие, частные письма — редко в полной сохранности, чаще всего во фрагментах, но подлинные, живые, говорящие о многом. Великий Новгород возвращается к жизни, тени прошлого обретают форму и цвет. Говорят живые люди убиенной цивилизации.

■

Сегодня с Новгородом Великим не связан риск — империя, раздавившая его, пала. Однако Россия Новгорода не стала альтернативой имперской России. Она по-прежнему окружена молчанием.

Молчание бдительно охраняют стереотипы, глубоко вросшие не только в русское сознание. Новгород Великий, как я подозреваю, по-прежнему неприемлем для «духа России». А этим духом, как встарь, проникнуты и многие умы на Западе. Они в восторге от России особенной, не такой, как другие страны, — и оттого таинственной, от этого «сфинкса» из блоковских «Скифов». Очарование тем сильней, чем труднее найти в России нечто, сопоставимое с аналогичными явлениями европейской традиции.

Русские, даже вернувшиеся с созвездия Маркса, остаются для них людьми с другой планеты. Бывшие марксиане интересуют интеллектуальную Европу и университетские кампусы Америки именно как пришельцы, а не как такие же люди, как они. Иных западных богословов привлекает угадываемая в потоке набожных слов глубина духовного переживания и проистекающий из нее мистицизм. Эта мистика так приближает к Богу, что совершенно уводит от людей — воздавая почести божественной России, за чьей божественностью по-прежнему кроется, увы, мифологизированное самодержавие.



Когда Россию мифологизировал изгнанник или другой отверженный русский человек, его правом было творить легенду. Но в Польше воспоминание о Новгороде Великом искореняет разочарованный молодой оригинал, который перебрался из Польши в глубь России, чтобы пророчествовать о ней с позиции высочайшего посвящения. Вернулись все инвективы идеологов самодержавия: «охлократия», государство «олигархов», манипуляции вечем, постоянная неразбериха, власть толпы, беспрерывные потасовки всех со всеми, кровавые завоевания; Новгород оказался хуже, чем царизм. И никаких попыток объяснить, каким чудом это общество в течение нескольких сот лет распространило свою власть на территорию, бóльшую, чем любое из европейских государств, навеки русифицировав угро-финские племена всего севера нынешней европейской России (нынешние великороссы — по крайней мере наполовину их потомки, а местная угро-финская «чудь» изначально принадлежала к элите Новгорода Великого).

Я понимаю людей, которые за двенадцать лет, прошедших после 1989 г., разочаровались в демократии. Свободное польское государство, о котором столько мечтали, слишком напоминает Французскую республику столетней давности, чье устройство перенято у нас вместе с административным параличом и коррупцией. Республика — это не для идеалистов и не для мечтателей. Демократия сама невесть откуда не возьмется, кто-то должен ее создать. Когда подготовленных людей мало или нет совсем, сторонние свидетели испытывают отвращение. Я понимаю омерзение, которое республиканская Смута посткоммунистической России вызывает, например, в великом благородном уме Солженицына.

Я посвятил Новгороду Великому 17 лет; Валентин Янин, который возвращает ему жизнь, — более 50-ти. Книге «Господин Великий Новгород» я дал подзаголовок «Истинное рождение Руси». Мне пришлось извлекать реальные процессы перемен из-под наслоившихся окаменелостей идеологических, историософских и культурных деформаций.

Я не собираюсь идеализировать Новгород Великий. Ни у одной купеческой республики история не похожа на идиллию. Древние Афины не испугались персов, но больнее всего наказали потом своих союзников. Республика Древнего Рима, а не позднейшая Римская империя была государством войн и завоеваний. Тем не менее Афины и Рим были республиками, и опыт их демократии, наряду с опытом еще не описанной республики острова Родос, несколько веков властвовавшей над Средиземным морем, принадлежит к великому наследию европейской цивилизации. Точно так же, как, в моем понимании, и Новгород Великий.

Поэтому, сознавая еретический характер представляемой мною *нормальной* картины русской жизни, в книге, которую я готовлю — «Атлантида, так близко» — я продолжу рассказ о настоящих предках русских. О предках не более и не менее нормальных, чем предки прочих европейских народов, но невероятно интересных, ибо они — другие, незнакомые. Я расскажу о формировании необычной демократии, о своеобразной русской Атлантиде — поскольку эта другая Россия долго опережала в своем развитии запад Европы и пережила разные увлекательные коллизии (включая и глупости).

Когда сегодня русские пытаются восстановить ампутированный фрагмент прошлого — ведь Новгород был вычеркнут из их памяти, — они предлагают своему обществу иной взгляд на вещи. Я покорен их усилиями, и потому отдал Великому Новгороду немалую часть своей жизни — а если хватит сил, отдам и еще.



Василий Щукин

РОКОВОЙ ВОПРОС

Размышления о книге Генрика Глэмбоцкого

Когда берешь в руки новую польскую книгу об отношении русских политиков, публицистов и вообще русского общественного мнения к Польше и полякам до и во время восстания 1863 года[1], то думаешь, что не будет нам от автора пощады: ведь в 1863 году полякам — что греха таить — не было никакой пощады от нас. Мыслящая, образованная Россия практически в один голос требовала безжалостной расправы с повстанцами. Питерские, московские, киевские профессора и студенты, столичное и провинциальное купечество, мещанство — все писали адреса в поддержку решительных действий правительства. От Герцена, поддержавшего восставших, читающая Россия враз отвернулась: в несколько раз сократилась подписка на его «Колокол». Известный поэт Николай Некрасов (кстати, по матери поляк) посвятил оду Муравьеву-вешателю, виселицами наводившему порядок в Западном крае. Знаменитый прозаик Иван Тургенев пожертвовал денежные средства на помощь русским солдатам и офицерам, раненым в боях с поляками. Его близкий приятель (а когда-то лучший друг Белинского), известный либерал Василий Боткин, начитавшись ура-патриотических статей другого либерала, Михаила Каткова, искренне жалел, что по старости и болезни не может пойти в ополчение, но готов был отдать в фонд обороны все свое состояние. При всех различиях и при всех нюансах политической позиции каждого из замечательных деятелей русской культуры и образования все они сходились в том, что победа поляков повлекла бы за собой непредсказуемые последствия, обернулась бы национальной катастрофой и даже, быть может, кончилась бы полным распадом Российской империи, гибелью нашего отечества. Человеку, который хотя бы немного знаком с этими фактами и которому не всё равно, что думают о его стране за ее пределами, трудно избавиться от назойливых и безотрадных мыслей о том, с каким гордым презрением отнесутся к нам праправнуки повстанцев 1863 года.

Что же такое «Роковой вопрос», эта новая книга о русской и польской истории? Еще один справедливый обвинительный акт в адрес великорусского шовинизма? Или же ее автор, молодой краковский историк Генрик Глэмбоцкий, решил не ходить по проторенному пути и не повторять старую мысль Яна Кухажевского, знаменитого историка и политика довоенной Польши, согласно которому какая бы Россия ни была, «белая» или «красная», ее на самом деле интересует только одно — сохранение и расширение империи, порабощение всё новых и новых стран и народов?

На первый взгляд книга кажется выстроенной согласно традиционной романтической модели. Читаю оглавление и вижу, что в названиях глав вновь и вновь звучит старая мысль, которую можно было бы выразить словами: «А чего же от них ещё ожидать? Либеральнее ли, в духе Щедринского Грустилова, или «зубодробительней», как Угрюм-Бурчеев, — все равно азиаты останутся азиатами, а империалисты империалистами». Подобные ассоциации во многом возникают из-за того, что слишком уж многие заголовки составлены в форме несобственной прямой речи или непосредственной цитации российских текстов тех лет, а тексты вот какие: «Польская анархия и «просвещенный» российский империализм», «Славянская измена», «Поляки жгут Россию...», «Концепция «окончательного» разрешения польского вопроса». И буквально на каждом шагу кавычки, которые для русского читателя иной раз гораздо обиднее прямых обвинений. Почему, к примеру, в словосочетании «Мнение «просвещенного» русского общества по польскому вопросу» в кавычки берется слово «просвещенное»? Неужели же тот слой русского

[1] Henryk Głębocki, *Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866)*. Kraków, «Arkana» 2000, s. 584.

общества, представителями которого были Герцен, Грановский, Тургенев, Кавелин, Хомяков, братья Аксаковы, братья Милютины и многие им подобные, на самом деле просвещенным не был, а только таковым себя считал? И, в конце концов, если таково мнение автора, почему он не высказывает его прямо, именно как утверждаемое собственное мнение?

А после всего этого я открываю первую главу и начинаю читать страницу за страницей. И только тогда вижу, что Глэмбовский написал эту книгу не затем, чтобы обвинять или на что-то намекать, а затем, чтобы подробно во всем разобраться. Разобраться, то есть *понять,* почему просвещенное (без всяких кавычек) русское общество в огромной массе своей осуждало национально-освободительную борьбу поляков. Понять не значит оправдать, понять — значит признать чужое мнение обоснованным с определенной точки зрения, которая, быть может, не всегда и не во всем справедлива, но имеет историческое и моральное право на существование. «Мы отвергаем позицию русских, но далеко не все они отъявленные злодеи и мерзавцы. Просто они по-своему понимают национальные интересы своей страны, которые не всегда совпадают с нашими интересами», — вот позиция автора, который основательно, вдумчиво, честно, не подгоняя факты под концепцию, развертывает перед читателем грандиозную картину векового «славянского спора».

Что же творилось в наших умах и душах почти полтора столетия назад? Почему польский вопрос, который для поляков означал восстановление независимости и интегральной целостности страны, оказался для нас роковым? Пытаясь это выяснить, Глэмбоцкий начинает свой рассказ с Карамзина, чья «История» научила великорусов их прошлому. Краковский историк обращает внимание па простую вещь: русские люди учились в школе по учебникам и хрестоматиям, в основу которых была положена именно карамзинская интерпретация отечественной истории и истории соседних народов. Карамзин учит нас, что Россия никогда не вела захватнических войн, но зато долгие века лишь защищалась от непрошеных врагов или проливала кровь за то, чтобы возвратить утраченные земли Киевской Руси — в том числе земли, захваченные литовцами и присоединенные .по персональной, а затем и по «полной», Люблинской унии к Речи Посполитой. В глазах поляков и многих западных европейцев Россия в XVIII веке осуществляла имперскую экспансию в южном и западном направлении, присоединяя к себе чужие, то есть литовские и «русские» но никак не московские, а значит и не российские земли. С точки зрения Карамзина это была долгожданная победа над польскими и литовскими захватчиками. А то, что в руках «белого» царя в конце концов оказалась и Варшава, оправдывалось правом победителя, который, руководствуясь не абстрактной любовью к свободе и благополучию других народов, а стратегическим расчетом и соображениями военной безопасности, не должен был допустить, чтобы старый враг смог еще раз поднять голову, возродить государственность и армию, которую при благоприятных обстоятельствах можно использовать для нового захвата западных русских земель. Когда после победы над Наполеоном у Александра I появились планы восстановления польской государственности, Карамзин публично выступил против царя, впервые, как считает Глэмбоцкий, выразив тем самым голос независимого общественного мнения.

«Можете ли Вы, Ваше Величество, — вопрошал придворный историограф, обращаясь к императору, — со спокойной совестью отобрать у нас Белоруссию, Литву, Волынь, Подолию — собственность России, признанную еще до Вашего царствования? Скажут ли, что она [Екатерина II — *ремарка Г.Глэмбоцкого*] бесправно поделила Польшу? Но Вы, Ваше Величество, поступили бы еще более бесправно, вознамерившись искупить ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом — вот наше право! Ведь все государства благодаря ему и существуют, ибо все они возникли из захватов. Польша — законная русская собственность. Нет старых прав собственности в политике, иначе пришлось бы нам восстановить Царство Казанское и Астраханское, Новгородскую республику, Великое княжество Рязанское и так далее. Всё или ничего». [2]

[2] Н. М. К а р а м з и н, *Мнение русского гражданина // Старизна и новизна. Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещения и памяти Императора Александра ///.* Кн. 2. Санкт-Петербург 1898, с. 14-15. Цит. в обратном переводе с польского по кн. H.Głębocki, *Fatalna sprawa...,* s. 30.

Заставляет задуматься это гордое «все или ничего». Ведь это не что иное, как призыв играть ва-банк: Русских, по мнению Карамзина, интересует не существование какого-нибудь их независимого государства, например, совпадающего по территории с Московским княжеством XIV века, без Рязани и Смоленска. Их интересует только всё, то есть могущественная европейская держава, а таковую никак нельзя создать без господства над всей Восточной Европой. Ключ к этому господству — русские земли, некогда входившие в состав польского государства. Кто владеет ими, тот и господин на востоке европейского субконтинента.

Вот где кроется настоящая причина непримиримого противостояния поляков и русских в XIX веке. Противостояния, в котором с одной стороны действовал и могущественный (как казалось) военный аппарат, и церковь, и законодательство, и просвещение, а у другой стороны не было ни государства, ни армии, ни школ, а только часть католического духовенства и нестройный, внутренне противоречивый хор патриотов-шляхтичей в Царстве Польском, на «забранных землях» (так поляки называли спорные литовско-русские губернии) и в эмиграции. И тем не менее — Глэмбоцкий очень хорошо это показывает — русские боялись поляков. И хотя наши публицисты чаще всего относились к ним великодушно, как к побежденным соперникам, во время восстания 1863 года вышли наружу старые тревоги и опасения за судьбу самой России. Катковский шовинизм пришел после, а с самою начала, когда разнеслась весть о том, что в ночь на 6 (18) января поляки зарезали русских офицеров, спокойно спавших у себя на квартирах, панические настроения охватили всю страну.

Как вспоминает Афанасий Фет, восьмидесятилетняя ключница Василия Боткина, Пелагея, которую все звали Попочкой и которая помнила 1812 год, говорила, что тогда тоже обещали, что французов в Москву не пустят, а они всё равно пришли, и что сейчас возьмут да и придут поляки: «Ох, батюшка, что это с нами грешными будет? В народе говорят: поляк на Москву идет» А садовник Александр отвечал ей: «Значит, все мы пойдем бить поляка». К этому Фет прибавлял: «То, что это была не пустая фраза, видно на одном ярком примере: несмотря на тогдашнее далеко не лучшее отношение к военной службе, крестьяне толпами валили в город Мценск, прося, чтобы их вели бить поляков»[3]. Значит, появившаяся в XX веке пошлейшая пословица: «Курица не птица, Польша не заграница», — никоим образом не отражала подлинных настроений русского народа. Поляки были для нас не просто чужеземцами, а серьезными и опасными врагами, подобными татарам, немцам и французам. Они могли пойти на Москву и захватить ее, как это не раз бывало в старые времена, а тогда — «решилась Россия», как говорил купец Ферапонтов в «Войне и мире»...

Но было у русских и чувство вины перед поляками — тщательно скрываемое от самих себя, вытесняемое в историческое подсознание. Глэмбоцкий видит это: целых две главы посвящены объяснению и документальной иллюстрации того простого факта, что и просвещенная бюрократия, и широкие круги интеллигенции считали, что постыдное порабощение Польши — пятно на совести нации и тормоз, препятствующий модернизации России. Поэтому накануне восстания были предприняты серьезные попытки примирения с поляками. Возник правительственный проект восстановления конституционного строя, армии и парламента в Царстве Польском, были и проекты предоставления ему независимости — правда, при условии полной интеграции украинских и белорусских земель с Россией. В Варшаву с миссией доброй воли ездил Кавелин, встречался с Велёпольскмм и другими представителями «соглашательских» группировок, пытаясь прийти к взаимоприемлемому соглашению. И не только Герцен, как утверждал в свое время Ленин, спас честь русской демократии, но и учитель Кавелина — великий Грановский. Незадолго до смерти, во время Крымской войны, он заявлял, что нельзя считать себя благодетелями славян и освобождать болгар, в то же самое время притесняя поляков. «С головы до ног, — писал он в заметке по восточному вопросу, — преобразовать все общественные устройства, освободить Польшу, отречься от своего прошлого и пойти совсем другим путем».[4]

---

[3] А. А. Фет, *Мои воспоминания,* т. 1. Москва 1890, с. 437-438. Цит. в обратном переводе с польского по кн. H.Głębocki, *Fatalna sprawa...,* s. 94.

[4] Т. Грановский, *Восточный вопрос с русской точки зрения* // Российская национальная библиотека, отдел рукописей, архив Бильбасова, оп. 9, ед. хр. 59. Цит. в обратном переводе с польского по кн. H.Głębocki, *Fatalna sprawa...,* s. 94.

А поляки? Готовы ли они были отречься от своего имперского прошлого и пойти на определенные компромиссы, чтобы установить с русскими взаимоприемлемый территориальный и политический консенсус? К сожалению, нет и еще раз нет, за исключением горстки реалистов, понимавших, что жить в Европе так или иначе придется имеете с Россией, а не «против» России. Патриоты, готовившие «ирреденту» в Варшаве и Кракове, в Париже и Вильно, и слышать не желали ни о каких компромиссах с «калмыками с Иртыша», ни о каких территориальных уступках, ни о каких референдумах на Украине, в Белоруссии и в Литве, к чему неоднократно призывали русские демократы — Герцен, Кропоткин, Петр Долгоруков. В стремлении во что бы то ни стало восстановить Польшу в границах 1772 года, с Минском и Полоцком, с Винницей и Житомиром слышатся знакомые карамзинские нотки: всё или ничего! Право, поляки немало сделали для того, чтобы вызвать антипатию даже самых горячих русских сторонников польской свободы — материалы, представленные в книге Глэмбоцкого, не оставляют на этот счет никаких сомнений.

Автор, стремящийся к полной объективности повествования, редко — по-моему, даже слишком редко — высказывает свое собственное мнение. Поэтому особенно ценны те немногие фрагменты, в которых оно всё же звучит. Вот, к примеру, 258 страница, на которой можно прочесть любопытнейшую мысль: поляки окончательно проиграли многовековую битву за свои восточные литовско-русские окраины именно в 1863 году, когда упорно отказывались прислушаться к мнению народов, живших между Бугом и Днепром. Ведь восстание потерпело поражение еще и потому, что православные украинцы и белорусы восприняли его как чужое, «папское» дело. Русские же «проиграли» эти земли в первую мировую войну, когда пытались еще больше расширить «единую и неделимую», не подозревая, что национализм на окраинах окреп и был психологически готов провозгласить политическую независимость. В советские времена удалось «привязать» к себе окраины, но лишь ценою установления невиданного по своей жестокости режима. Спустя всего-навсего 70 лет, при первой серьезной попытке либерализации, приговор истории, произнесенный в 1917 году, был приведен в исполнение: окраины немедленно отделились. Наши юго-западные и западные губернии, они же литовско-русские земли или, если угодно, восточные окраины Речи Посполитой превратились в ряд независимых государств Восточной Европы.

Хотелось бы верить, что эта новая историческая ситуация создаст условия для подлинного добрососедства Польши и России. К тому же обладание большими территориями в эпоху электроники уже не играет решающей роли в определении политического престижа той или иной страны — иное дело эффективность экономики, технологический уровень, интеллектуальный потенциал. Хотя с другой стороны: великая мировая держава объявляет земли, лежащие на другом конце земного шара сферой своих жизненных интересов, а из Москвы в Киев и даже в Ригу идут поезда не международного, а «межгосударственного» сообщения, так как это всего лишь ближнее зарубежье. Нет, никакой идиллии в политике пока не предвидится. И между Польшей и Россией еще далеко до полного доверия. Но нет и «полной» вражды, что было еще совсем недавно — это обнадеживает. «Роковой вопрос», которому Генрик Глэмбоцкий посвятил свою замечательную книгу, отошел в прошлое — дай Бог, чтобы окончательно и бесповоротно.

Эта книга учит еще одной важной вещи: не судите, да не судимы будете. Ее автор никого не осуждает — он констатирует. Русских шовинистов Anno Domini 1863 и их польских романтических собратьев осудила история, как осудит она и тех, кто, соблазнившись их незамысловатыми, слишком «понятными» лозунгами, попытается доказать свою национальную исключительность. Рано или поздно все они будут привлечены к суду истории.



Кшиштоф Поль

МОСКОВСКИЙ АДВОКАТ, ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ

10 августа 1934 года, за полдень, жара. Хотя обычно летом Варшава пустеет, на мосту Понятовского движение было весьма оживленным. В толпе прохожих обращал на себя внимание статный, на вид лет под семьдесят, мужчина, лицо которого окаймляли подстриженные волосы и короткая бородка. Одет он был в элегантный светлый костюм и легкую панаму. Шел он медленно, уставясь вперед невидящим взглядом, иногда спотыкался, пошатывался, жестикулировал, словно вел речи сам с собой.

В какой-то момент он подошел к перилам моста и оперся на них. Погрузившись в свои мысли, он смотрел в воды Вислы. И вдруг перекинул через перила ногу, а за ней и все тело — и полетел вниз. Раздался громкий всплеск. Кто-то крикнул. Сбежались люди — наклоняясь через перила, они увидели, как пожилой мужчина исчезает под водой.

Этот прыжок видели и плывшие по Висле рыболовы, и добытчики речного песка. Когда через нескольких мгновений тело появилось на поверхности воды, одна лодка была уже рядом с ним. Два рыболова с трудом втащили его в лодку. На берегу их уже ожидали десятка полтора человек и спешно остановленная пролетка. Несостоявшийся самоубийца не сразу пришел в сознание и понял, что склонившиеся над ним туманные фигуры спрашивают у него адрес. Он с трудом выговорил: «Пия XI, дом три...» Его усадили в пролетку, и она помчалась.



Александр Ледницкий

На месте полуобморочного мужчину внесли на второй этаж. На двери квартиры висела блестящая бронзовая табличка: «Александр Ледницкий. Юрисконсульт». Дверь открылась мгновенно. У входа в ужасе столпились родные, которых кто-то уведомил о случившемся по телефону. Вскоре приехал врач, велел раздеть пациента, уложить в постель и дал ему сильные успокаивающие лекарства. Вскоре мужчина уснул. Между тем домой к нему прибывали многочисленные встревоженные друзья, но семья, как велел врач, никого не впускала в спальню. В конце концов, убедившись, что Александр Ледницкий проснулся и успокоился, родные позволили навестить его. Друзья распрощались с ним перед полуночью.

Спасенный ненадолго

Почему такие волнения? Кто такой Александр Ледницкий? В мемориальном издании «Десятилетие возрожденной Польши. 1918-1928» он был назван в числе 30 самых выдающихся поляков эпохи I Мировой войны и первого десятилетия независимой Польши. Зато во втором десятилетии он стал второстепенным политическим деятелем, подвергался резким нападкам национал-демократов, но при этом был в немилости и у правящих пилсудчиков.



8 августа 1934 г. в правительственном органе «Газета польска» появилась статья ее главного редактора Игнация Матушевского (бывшего министра финансов, полковника и публициста), который называл Ледницкого виновником якобы невыгодного для Польши контракта, позволившего части польских акционеров, якобы без ведома правительства, заключить соглашение с Марселем Буссаком, французским владельцем текстильного комбината в Жирардуве (Ледницкий был посредником в их переговорах). Двумя днями позже «Экспресс поранный» опубликовал статью «Патриоты из Петербурга и Вены — кто посредничал в жирардувской афере?», полную обвинений против Ледницкого. В статье говорилось о людях, которым «мало одной родины», а кончалась она словами: «Sic transit gloria Alexandri» — «Так проходит слава Александра». Понятное дело, Александра Ледницкого.

Утром 10 августа 1934 г. возмущенный обеими статьями Ледницкий встретился с известным экономистом проф. Феликсом Млынарским. В своих опубликованных почти 40 лет спустя «Воспоминаниях» Млынарский писал, что Ледницкий пришел к нему за советом. «Я рекомендовал терпение, так как пыл травли вскоре уляжется. Он ушел успокоенный». На вид. Сразу после этого произошел прыжок с моста.

Однако еще до полуночи 10 августа казалось, что Ледницкий спасен. Между тем на следующее утро его нашли с размозженной головой на мостовой под окнами его квартиры по ул. Пия XI. Врач констатировал смерть, определив ее время как 2-3 часа ночи. Было начато энергичное следствие.

«Патриот из Петербурга», человек, которому «мало одной родины»... Откуда такие обвинения? И что эта была за слава, которая «прошла»?

Триумфы и овации

Александр Ледницкий родился 15 июля 1866 г. в Минске. Его отец был мелким землевладельцем, который служил чиновником, мать происходила из средней помещичьей семьи. За участие в восстании 1863 г. оба отсидели по году в царской тюрьме.

В 1878 г. Александр поступил в русскую гимназию в Минске. Он не был в числе хороших учеников, а из гимназии вынес самые худшие воспоминания. Это был период усиленной русификации народного образования на землях, входивших в состав былой Речи Посполитой, и самого Ледницкого несколько раз наказывали за то, что он разговаривал в школе по-польски.

В 1885 г. он поехал учиться в Москву, где записался на факультет естественных наук. Он также вступил в польский студенческий дискуссионный клуб, занимавшийся самообразованием социалистического и национального толка. Ледницкий интенсивно изучал польский язык, историю и литературу. Как он сам вспоминал, в кружке он пережил «перелом, возвращение к сознательному бытию поляка — по выбору и действием». Он участвовал в студенческих волнениях, в результате которых университет ненадолго закрыли. Когда волнения вспыхнули вновь, университет закрыли на более длительное время. Ледницкий, раздраженный перерывами в учебе, перешел в Демидовский лицей правоведения в Ярославле, дававший своим выпускникам те же права, что и университет. В 1889 г. он получил степень кандидата правоведения.

За два года до этого он познакомился с Марией Кривоносовой, певицей, выпускницей консерватории. Она была родом из русско-польской семьи; официально православная, она была воспитана в католической вере. Когда Александр окончил учебу и вернулся в Москву, они поженились, причем Ледницкий, по вероисповедным соображениям желая стереть следы русского происхождения жены, добился того, что в ее паспорт была вписана девичья фамилия ее матери — Почобут-Одляницкая. Венчались они в Нарве тайно, так как по документам Мария была православной. В будущем это вызвало различные сложности и обвинения, вплоть до того, что адвокат, противник Ледницкого на одном из процессов (увы, поляк), донес на него. На позднейшие инсинуации политических противников Ледницкого ответил Эдвард Ропп, виленский епископ с 1903 г., архиепископ-митрополит Могилевский с 1917-го, авторитетно заявив, что «у Ледницких дом был католический и польский».



В 1889 г. А.Ледницкий начал адвокатскую практику в Москве, в канцелярии выдающегося адвоката Н.С.Триостанского. В 1891 г. стал его помощником, а еще через два года — заведующим всей его конторой. Вначале он занимался почти исключительно гражданскими делами. Только позднее, уже прочно став на ноги, Ледницкий занялся также уголовными и политическими делами. Он сотрудничал с кружком политических защитников, который в Варшаве возглавлял Станислав Патек.

После смерти Триостанского Ледницкий возглавил его адвокатскую контору. Контора Ледницкого, в частности благодаря его выступлениям в ряде громких и трудных дел, стала одной из самых видных в России, а он — одним из самых знаменитых представителей московской адвокатуры. Он любил запутанные процессы, ибо именно в таких делах мог проявить свой всесторонний ум, огромную эрудицию и замечательную память. К атаке или защите Ледницкий всегда был готов в необычайно краткое время. Тогдашние завсегдатаи залов суда запомнили его по таким процессам, как, например, защита московского хирурга Модлинского, обвиненного в необходимой, но закончившейся смертью операции несовершеннолетнего без согласия его опекунов. Немало таких процессов заканчивались публичными овациями.

Одним из самых знаменитых был процесс по делу о бунте крестьян в имении князя Гагарина. Ледницкий, которого Гагарин попросил выступать против убийц его стражников, отказал ему, несмотря на огромный гонорар (20 тыс. рублей). Более того, он заявил, что будет даром защищать мужиков. В ходе заседания, когда Ледницкий дошел до кульминации своей речи, в Благовещенском соборе ударили в колокола на Иване Великом. Подсудимые и кое-кто из публики начали креститься. Ледницкий замолк, склонил голову, а потом, обращаясь ко всему залу, воскликнул: «И в тот день звонили к заутрене, когда черкесы-мусульмане, стража русского князя, били нагайками русских крестьян, идущих помолиться Господу!» Плакали подсудимые, публика, даже конвойные. Ледницкий торжествовал. Подсудимым были вынесены довольно мягкие приговоры.

Обороты конторы Ледницкого достигали головокружительных сумм. До 1914 г. он был одним из самых богатых людей в России. Ему принадлежали, в частности, особняк в Кривоникольском переулке в Москве, два участка в московских предместьях, два доходных дома в Варшаве, поместья и имения. При этом он почти фанатически отдавался общественной работе (например, помогал заключенным, особенно политическим). Он никогда не скупился в делах благотворительности или делах, преследующих национальные цели. Особняк в Кривоникольском был всегда открыт полякам. Ледницкий старался объединить всю московскую польскую интеллигенцию, можно сказать, предводительствовал ей и опекал ее.

В 1893 г. Ледницкий стал секретарем, а позднее (и вплоть до 1917 г.) — председателем московского римско-католического благотворительного общества. Благодаря ему и его субсидиям в Москве были созданы Польская библиотека и Союз польских женщин (во главе которого стояла Мария Ледницкая). По просьбе Генрика Сенкевича он оказал финансовую поддержку учительской семинарии в Урсинове, а по просьбе Вацлава Серошевского — изданию польской литературы в русских переводах. Когда в 1902 г. Элиза Ожешко обратилась к Ледницкому с просьбой собрать средства, чтобы обеспечить спокойную старость Марии Конопницкой, он ответил ей письмом: «Всякое дело, по которому Вы ходатайствуете (...), близко сердцу любого поляка». Он не только передал деньги, но и прочел в Москве лекцию о Конопницкой.

Помогал он и незнакомым. В 1899 г. к нему обратился после побега из Сибири Феликс Дзержинский. Ледницкий обеспечил ему временное убежище, снабдил продуктами и содействовал выезду в Вильно. Несколько позже он аналогичным образом помог известному эсеру-террористу Борису Савинкову. Когда Станислав Патек был арестован и исключен из адвокатуры за свою деятельность в кружке политических защитников и оказание материальной помощи арестованным, Ледницкий активно включился в его защиту на территории России.

Русских побудить, своих успокоить

В начале XX века, особенно после того, как в 1904 г. разгорелась русско-японская война, Ледницкий установил более тесные связи с варшавскими оппозиционными кругами, начав — с ущербом для своей адвокатской практики — играть все бóльшую политическую роль. Он стремился положить начало широким действиям в пользу Польши внутри русского общества. С этой целью в 1903 г. он участвовал в краковском совещании, на которое съехались лидеры «Национальной лиги», в том числе Роман



Дмовский, Ян Поплавский и Зигмунт Балицкий. Однако уже тогда проявились различия между ними, которые позднее породили враждебное отношение национал-демократов к Ледницкому и их беспардонную борьбу с ним. Если он искал сближения с русской либеральной оппозицией, то настроенные на компромисс лидеры эндеков делали ставку на контакты с царской властью.

Когда в «кровавое воскресенье» 9 (22) января 1905 г. в Петербурге началась революция, Ледницкий срочно отправился на родину и вместе с Александром Свентоховским основал в Варшаве либеральную Прогрессивно-демократическую партию, став ее вице-председателем. В Москве он был инициатором польско-русских встреч. В 1904 г. в его в салоне состоялось учредительное собрание московской группы новой Конституционно-демократической партии («кадетов», после Февральской революции участвовавших в создании и деятельности временного правительства). Под влиянием Ледницкого собравшиеся одобрили требование автономии Царства Польского. Он принял участие также в земском съезде в Москве (1905 г.), на котором выступил с требованиями национального порядка. Этот съезд признал право поляков на автономию и собственный Сейм. 1 апреля 1905 г. в квартире Ледницкого прошел очередной польско-русский съезд. С польской стороны в нем, в частности, участвовал Балицкий, с русской — выдающиеся конституционные демократы: Муромцев, Родичев и Милюков. Ледницкий принял двойную тактику: русских он убеждал, что автономия Царства Польского не станет предисловием к провозглашению полной независимости Польши, а поляков — что автономия представляет собой реальную программу на сегодняшний день, не исключающую других решений в будущем.

Ледницкий стал членом ЦК кадетской партии, а в апреле 1906 г. его выбрали в Минске депутатом I Государственной Думы. В «Польское коло» в Думе, где преобладали эндеки, он не вступил, так как усилия (его и проф. Леона Петражицкого), направленные на то, чтобы склонить «Коло» к сотрудничеству с кадетами, ни к чему не привели.

Когда в июле 1906 г. царь досрочно распустил Думу, часть депутатов призвала общество к пассивному сопротивлению. Из поляков Выборгское воззвание подписали Ледницкий и Петражицкий. Подписавших приговорили к трем месяцам тюрьмы и лишению политических прав. Ледницкий вместе с еще 12 депутатами отбывал срок в московской тюрьме, где его выбрали тюремным старостой. Тогдашний министр юстиции внес предложение лишить Ледницкого адвокатских прав, но суд не удовлетворил этого требования. О совершенно необычайной популярности Ледницкого в России может свидетельствовать тот факт, что его портрет поместили на коробке модных в то время папирос.

Поляк не только по праздникам

Начало мировой войны направило всю энергию Ледницкого на новые рельсы. Во внутренние губернии России хлынуло свыше 300 тысяч беженцев из Царства Польского и Литвы. Пришельцы, лишенные имущества, терзаемые болезнями, нередко голодающие, чувствовали себя в чуждой среде совершенно беспомощными. Местные соотечественники начали самоотверженно помогать им. Еще в августе 1914 г. Ледницкий создал в Москве Польский комитет помощи жертвам войны.

У него были и другие заслуги перед польской культурой. В его московском особняке хранилась «Битва под Грюнвальдом» Матейко, переданная ему Товариществом поощрения изящных искусств перед тем, как Варшава была занята немцами. Он субсидировал создание кафедры польской литературы в Лондонском университете и издание журнала «The Polish Review». На его-то страницах он и выдвинул требование включить Гданьск и Клайпеду в состав Польши. Вначале он поддерживал объединение и автономию польских земель внутри Российской империи, в чем был согласен с эндеками, однако поражения русской армии в 1915 г. привели к радикальной перемене его взглядов. Когда немецкие и австрийские оккупанты сделали полякам некоторые уступки в сфере самоуправления, народного образования и судебной системы, Ледницкий стал сближаться с кругами сторонников независимости, где большинство составляли приверженцы Пилсудского.

В марте 1916 г., когда Дума и Государственный Совет постановили отправить делегацию в союзные страны Антанты, Ледницкий как член партии кадетов предложил выпустить заявление по вопросу о независимости Польши. До отъезда делегации предложение не успели обсудить, а по ее возвращении — отвергли. Даже недоброжелательный к нему публицист и политик Владислав Студницкий писал:

«Зная, как он целым рядом духовных нитей сросся с кадетской партией, я понял, что с его стороны это был героизм. Ощущение того, что он поляк, ощущение наших государственных интересов превозмогло все влияния того окружения, в котором он развивался, созревал, имел успех». А Петражицкий констатировал: «Я везде и всегда повторяю, что г-н Ледницкий выступал как польский политик. Таковым его и считала вся Россия». Только эндековские политики и публицисты видели в Ледницком «кадета по будням, а поляка в воскресенья и по праздникам».

В июле 1916 г. Ледницкий выдвинул в печати предложение торжественно подтвердить права поляков на свободное существование по образцу торжественного заявления стран Антанты о Бельгии и Сербии. Требование таких гарантий вопреки политике «Польского кола» в Думе выносило польский вопрос на международный форум. Ледницкий сделал это первым из политиков России. Эндеки же связывали судьбу Польши с доброй волей царской России, пытаясь через нее оказать нажим на остальные страны Антанты. Пути эндеков и Ледницкого разошлись окончательно.

Февральская революция, падение царского строя и переход власти к людям, с которыми Ледницкий уже много лет сотрудничал, радикально изменили ситуацию. В марте временное правительство назначило Ледницкого председателем ликвидационной комиссии по делам Царства Польского в ранге министра. Эндеки были недовольны этим назначением, боясь, как бы Ледницкий не занял центрального положения на польской политической сцене в России. Когда они хотели восстановить свое влияние путем создания польских вооруженных сил в России, Ледницкий воспротивился. Он опасался, что польские части будут защищать не столько национальное дело, сколько политические интересы. Это и использовали эндеки в своих нападках на Ледницкого, тем более что он был противником политической концепции Польского национального комитета в Париже, возглавляемого Романом Дмовским.



Усадьба Ледницких в Бореке

В октябре наступил большевистский переворот, свергнувший временное правительство. Ледницкий не без колебаний остался, чтобы продолжать работу в ликвидационной комиссии и помогать польским беженцам. Но Совнарком ликвидировал комиссию, подчинив ее Наркомнацу. Сотрудничество с большевиками становилось все менее возможным. Тогда Ледницкий обратился к Регентскому совету в Варшаве. 15 января 1918 г. постановлением, которое подписал, в частности, первый польский премьер-министр Ян Кухажевский, Ледницкий был назначен представителем Регентского совета в России. В Петрограде он за свой счет организовал польское представительство. Большевики не признали его мандата. 19 октября того же года Регентский совет вызвал Ледницкого в Варшаву на консультацию в связи с переговорами о границе и возможным открытием консульства советской России в столице Польши. Ледницкий выехал из Петрограда на несколько дней, с двумя чемоданами и слугой. И остался в Польше уже до самой смерти.

Маршал хвалит и ждет

В Варшаве Ледницкого посещали толпы людей: одни благодарили за спасение, другие просили спасти родных и друзей, оставшихся в России, или помочь в розысках имущества либо документов. Как писал адвокат Зигмунт Нагурский: «Это был несомненный момент великого нравственного торжества Ледницкого, доказательство того, что он получил публичное признание, и это резко противоречило невзыскательным, полным партийной желчи нападкам политических противников» («Зешиты хисто-



ричне» [«Исторические тетради»], Париж», 1962, №1). Действительно, почти сразу после приезда Ледницкого в эндековской «Мысли неподлеглой» появилось язвительное объявление: «В Варшаву прибыл и ищет видного дипломатического поста адвокат из Москвы А.Ледницкий». Уже после смерти Ледницкого вышеупомянутый Владислав Студницкий писал, что его считали «естественным преемником» Я.К.Стечковского на посту премьер-министра (Стечковского Регентский совет назначил премьер-министром 4 апреля 1918 г., после отставки Кухажевского).

Пилсудский, едва вернувшись из Магдебурга [крепость, где немцы его интернировали], отправил Ледницкому следующее письмо: «Желая всесторонне ознакомиться со взглядами общества на вопрос создания польского правительства, имею честь просить Вас посетить меня (...) вместе с представителями Партии демократической политики, Демократического клуба и Польской демократической партии. В надежде, что Вы сумеете договориться с вышеназванными группами, изъявляю Вам свое глубокое уважение».

То ли Ледницкий не сумел «договориться с вышеназванными группами», то ли у него были свои собственные концепции и далеко идущие амбиции, но к лагерю Пилсудского он не примкнул и поддержки у него не искал. С этого времени направленная против него кампания эндеков резко усилилась. «Газета варшавска» и «Мысль неподлегла» высказывали подозрения в том, что он не поляк, обвиняли его в государственной измене, масонском заговоре и германофильстве. Эти обвинения, сформулированные, в частности, публицистом «Мысли» Александром Жваном, Ледницкий расценил как затрагивающие его честь и достоинство и обратился в суд чести. Одновременно 20 декабря 1918 г. он подал в отставку с поста представителя правительства в России.

Четыре месяца спустя Пилсудский согласился дать ему отставку, одновременно выразив «признательность, которой заслуживает [его] трудная и крайне ответственная работа, проводившаяся в исключительно тяжелых условиях (...) Вашу деятельность во время войны в будущем несомненно оценят по справедливости». Мнение Пилсудского, безусловно, имело для Ледницкого немалое значение в то самое время, когда организованная против него травля расширялась. И все же... Его сын Вацлав, видный славист, в своих «Записках», изданных в 1963 г. в Лондоне, приводит разговор с историком Шимоном Ашкенази, который сказал ему: «Он [Пилсудский] сидит себе в Бельведере и спокойно смотрит, как ваш отец вместе со своими сторонниками и друзьями сражается с эндеками, и как будто радуется, что эта борьба ослабит тех и других».

Между тем разбор его дела против Жвана закончился. Суд чести постановлением от 16 марта 1920 г. единогласно признал, что «обвинения, выдвинутые в «Мысли неподлеглой» (...) не соответствуют действительности либо необоснованны и поэтому никакого пятна на г-на Александра Ледницкого как на доброго и честного поляка не кладут и дальнейшей его работе в общественных учреждениях препятствовать не могут».

Однако еще до этого, 20 января 1920 г., главный редактор «Газеты варшавской» Зигмунт Василевский напечатал на ее страницах свою статью «По адресу министерства юстиции». В статье он приписал Ледницкому государственную измену (путем «срыва стремлений Польши к независимости и объединению») и попытку побега за границу от грозящей уголовной ответственности (24 января Ледницкий собирался поехать в Рим). Зигмунт Нагурский писал много лет спустя: «Василевский, еще в России живший клеветой на него (...), опубликовал призыв к министерству юстиции, чтобы оно не допустило выдачи паспорта Александру Ледницкому, который совершил государственную измену. (...) Он [Василевский] знал, что это была откровенная ложь. Но ему нужен был скандал!»

11 февраля 1920 г. Ледницкий подал на Василевского в суд. Окружной суд в Варшаве поручил следователю допросить свыше ста свидетелей! Кого только не было в этом хороводе! В числе многих других — будущий премьер-министр Александр Прыстор, будущий президент в изгнании Владислав Рачкевич, Роман Дмовский, генерал Желиговский и полковник Роля-Жимерский (позднее [в ПНР] маршал), архиепископ Ропп, [публицисты] Александр Свентоховский, Адольф Новачинский, адвокаты и аристократы...

Следствие продолжалось до мая 1923 года. Процесс состоялся лишь в следующем году. 11 февраля 1924 г. в тишине, наступившей в зале, председатель суда зачитал приговор: «Зигмунта Василевского (...) оправдать; судебные издержки уплатить из государственной казны; с частного обвинителя Ал. Ледниц-



кого взять судебную оплату в сумме 2 млн. [польских] марок». В обосновании суд констатировал, что все выдвинутые против Ледницкого обвинения опровергнуты и ни одно из инкриминируемых ему деяний не имело места, Василевский же не имел клеветнического умысла, «принимая неистинные слухи за истинные». В апелляционной жалобе на этот удивительный приговор видный адвокат Эугениуш Смяровский, в частности, писал: «Если наша публичная жизнь не должна превратиться в нравственную трясину (...), если арена политической борьбы и столкновения партий не должна стать побоищем (...), то Василевский должен был или доказать предъявленное им Ледницкому обвинение, или понести предусмотренное кодексом наказание за ущерб, нанесенный человеку, и за извращение нравственного принципа, за покушение на нравственное здоровье нации».

Только в апреле 1925 г. апелляционный суд приговорил Василевского за диффамацию к двум месяцам заключения, но по амнистии наказание было снято. В феврале 1926 г. Верховный суд ответил отказом на кассационную жалобу Василевского, и только тогда дело было окончательно завершено. Больше пяти лет дожидался Ледницкий судебной констатации клеветы, шесть лет — завершения дела. Он оказался в стороне от политики, ибо все эти годы борьба с эндеками поглощала его энергию, силы и средства. Правда, он пытался вернуться в политику, но неудачно. В 1922 г. он выставил свою кандидатуру на выборах в Сейм от белостоцкой интеллигенции и проиграл. В 1927 г. его выбрали виленским президентом [мэром], но он не принял этого поста. Однако Ледницкий по-прежнему активно участвовал в деятельности различных хозяйственных и благотворительных организаций — например, был председателем Союза защиты имущества потерпевших ущерб на территории России и членом правления Общества польско-белорусской дружбы.

Компромисс и драма

В 1934 г. Ледницкий был избран председателем Польского союза правоведов с Кресов [восточных земель Польши]. Несмотря на уговоры друзей, он больше не вернулся к адвокатской практике. Возможно, долгий процесс отбил у него охоту вести чужие дела. Зато он широко занимался работой юрисконсульта, занимал высокие посты в банковском деле и промышленности. Он был, в частности, председателем наблюдательного совета Американского банка в Польше, учредителем и председателем Телефонного акционерного общества в Варшаве, страхового общества «Будущее», акционерного общества по эксплуатации государственной спичечной монополии. Он стал также юрисконсультом крупных иностранных фирм — знаменитого «спичечного короля» Ивара Крюгера и вышеупомянутого Буссака из Жирардоува, занимая высокие посты в правлениях предприятий, входивших в их корпорации.

Именно та роль, которую он сыграл в деле Жирардувского текстильного комбината, содействовала его трагической гибели. Комбинат находился в руках французского капитала, польские акционеры составляли меньшинство. Французы еще в 1925 г. заключили договор с иностранными фирмами, который привел к упадку предприятия и росту безработицы. Спор польского меньшинства с большинством иностранных акционеров продолжался вплоть до 1933 г., когда польские акционеры во главе с проф. Феликсом Млынарским выразили протест против постановлений большинства и подали в суд, требуя признать эти постановления недействительными. Окружной суд вынес решение о секвестре предприятия и об установлении суммы потерь, понесенных с 1925 года. Возвращение потерь потребовало бы длительных и дорогостоящих судебных процессов, поэтому польские акционеры с ведома правительства вступили в переговоры с французами. В мае 1934 г. по просьбе иностранных акционеров Ледницкий взял на себя роль посредника, на что польская сторона с готовностью согласилась. Ледницкий так вел переговоры, что французская сторона согласилась на серьезные уступки. 19 июля была парафирована договоренность, содержание которой 3 августа было оглашено. Продолжение нам уже известно.

Жертва травли? Жертва убийцы?

12 августа на первых страницах всех газет появились сообщения о самоубийстве Ледницкого. Газеты ставили это в связь с его душевным надломом после нападок правительственной прессы. Однако проф. Млынарский, несомненно, хорошо информированный в этом вопросе, писал в «Воспоминаниях»: «Если бы он [Ледницкий] утонул в Висле, ни у кого не было бы сомнений, что он был затравлен на

смерть нападками в печати и угрозами репрессий за посредничество в жирардувском деле. Однако он был спасен — и тем не менее повторил покушение на свою жизнь спустя каких-нибудь двенадцать часов. Это выглядело подозрительно».

В летописях криминалистики редко встречаются случаи, когда человек, спасенный при покушении на самоубийство, делает вторую попытку в такой короткий срок. Все начали строить догадки и искать виновника. Обнаружились также новые факты. «Одним из них, — писал Млынарский, — были совершенно новые сведения о том, что в полдень этого трагического дня (...) Ледницкому кто-то позвонил, после чего он совершенно пал духом. Не было сомнения, что кто-то ему угрожал. Результатом шантажа был прыжок в Вислу».



Гостиная в московской квартире Ледницких

Далее Млынарский строит догадки: «А не зазвонил ли телефон повторно ночью и не принудил ли Ледницкого ко второму покушению на свою жизнь? Это выглядело более чем правдоподобно, но в то же время явно доказывало, что речь не могла идти о жирардувском деле — значит, о чем-то другом. Второй факт (...) был еще более интригующим. Еще до полудня в тот самый день, когда Ледницкого нашли бездыханным, в его поместье (...) на Гродненщине явилась полиция и произвела тщательный обыск в его бумагах. Что за спешка! Не могла же она искать там документы, относящиеся к жирардувскому делу. Все вместе выглядело какой-то спланированной акцией. Может быть, там искали документы, существование которых кому-то мешало? (...) Поэтому, возможно, и формальности, связанные со смертью Ледницкого, наши власти выполнили быстро и поверхностно, чтобы убрать со сцены дело об этой трагедии».

При этом Млынарский отмечал: «Моя уверенность в самоубийстве пошатнулась, и больше я ее так и не обрел. Кстати, если Ледницкий и вправду совершил самоубийство, смерть его все равно была больше чем самоубийством, так как наложить на себя руки его вынудил сознательно организованный натиск, подлинные цели и авторство которого остались неизвестными».

Ледницкий был похоронен в Варшаве, на кладбище Повонзки. С согласия кардинала Александра Краковского, архиепископа Варшавского, заупокойная служба состоялась в кладбищенской часовне. Служил друг Ледницкого архиепископ Ропп, превознося заслуги убитого. Через несколько дней после похорон, как вспоминает Вацлав Ледницкий, Ропп прочитал ему письмо, которое он отправил в Ватикан в ответ на упреки в том, что хоронил самоубийцу, и одновременно сказал, что его отца убила «двойка», то есть военная разведка [2-й отдел военного министерства].

Утром 11 августа, когда было обнаружено тело Ледницкого, полицейская группа дознания установила, что он выпрыгнул из окна своей спальни. Окно находилось на высоте нескольких метров от земли — значит, самоубийца должен был необычайно точно рассчитать свой прыжок, чтобы размозжить себе голову. Подробные допросы прислуги и соседей ничего не разъяснили: никто не видел прыжка и не слышал ни звука падения тела, ни хоть какого-то крика. 12 августа вся варшавская пресса писала, что Ледницкого нашли «с размозженной головой». Допускали даже возможность убийства из огнестрельного оружия. Но следов пули не нашли, а следствие поспешно закрыли, официально признав причиной смерти самоубийство. Тем временем сомнения и догадки множились.

Проф. Млынарский писал в «Воспоминаниях»: «Возник вопрос, не разбили ли ему голову сначала, прежде чем выбросить из окна. (...) Вспоминали, что у Ледницкого как юрисконсульта были в основном заграничные клиенты. Вспоминали, что (...) он был юрисконсультом Ивара Крюгера, который давал на-



шему правительству кредиты под гарантию спичечной промышленности. Во время жирардувского дела Крюгера уже не было в живых: он застрелился в Париже. (...) Вспоминали, что Матушевский, тогдашний министр финансов (в 1929-1931 гг.; до 1924 г. начальник «двойки». — *К.П.*), заключал с Крюгером кредитное соглашение, в переговорах о котором участвовал Ледницкий. Матушевский посетил тогда Крюгера в Стокгольме. Известно было, что вскоре после этого визита Пилсудский отправил Матушевского в отставку, не дав ему никакого другого поста. Слухи объясняли это тем, что Пилсудскому не нравился флирт с Крюгером. Матушевского взял в «Газету польскую» Богуслав Медзинский, используя его несомненный талант публициста. Не могло ли — при всех этих неясностях, — случиться так, что за нападками на Ледницкого в связи с жирардувским делом стояла какая-то закулисная связь с интересами Крюгера в Польше и ролью Матушевского? — спрашивал Млынарский и добавлял: — Понятно, что расшифровать истину никто из нас не мог, и кулисы смерти Ледницкого, вероятно, навсегда останутся закрытыми».

Вацлав Ледницкий писал в своих «Записках»: «Против него стоял лагерь, который поклялся не дать Ледницкому заниматься в Польше политикой. (...) Однако убили его другие — не эндеки». А Зигмунт Нагурский 30 лет спустя после смерти Ледницкого написал в изданной в Париже книге «Люди своего времени»: «Президент Г.Нарутович погиб от пули обычного фанатика (...), Ледницкий погиб от яда политической клеветы, порождаемого политической завистью и государственнической манией величия».

Честь спасена

Смерть Ледницкого — от своей или чужой руки — не принесла решения вопроса о чести покойного, которого в связи с жирардувским делом прямо обвинили в государственной измене, повторяя десятилетней давности обвинение Василевского в том, что он действовал на пользу иностранным интересам и во вред польскому государству. Вацлав Ледницкий со всей решимостью выступил в защиту отца и вызвал Матушевского на дуэль.

В лодзинском «Глосе поранном» от 23 августа 1934 г. мы читаем: «Вчера в Варшаве в 6 часов утра в манеже 1-го полка легкой кавалерии состоялась дуэль на пистолетах между г-ном В.Л., сыном недавно скончавшегося общественного деятеля и политика, и г-ном И.М., видным польским государственным деятелем. Г-н И.М. ранен в ногу. (...) По слухам, дуэль произошла на фоне громкого жирардувского дела и была эхом статей, появившихся в проправительственной печати». Газета привела только инициалы, но все и так знали, о ком идет речь. Вся варшавская печать обошла дуэль молчанием.

В середине сентября того же года проф. Ледницкий тоже обратился в суд чести с просьбой вынести оценку: накладывало ли поведение Александра Ледницкого в жирардувском дело пятно на его честь? Ввиду того, что против дирекции Жирардувского комбината продолжалось уголовное разбирательство, суд чести отложил слушание дела и возобновил его лишь в январе 1937 года. Выслушав ряд свидетелей, адвокатов и экспертов, 26 апреля суд постановил: «Мы признаём, что поведение покойного Александра Ледницкого в жирардувском деле ничем его честь не запятнало».

Этого окончательного очищения чести трагически погибшего отца сыну пришлось ждать три года. И это была для него самая главная сатисфакция.

Кем был Александр Ледницкий? Этот вопрос я задавал еще в конце эссе о нем, напечатанного два года назад в «Зешитах хисторичных» (1999, №129). Ежи Гедройц снабдил эти слова своим комментарием: «Ответ прост. Он был великим поляком».



Вацлав Ледницкий

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ENTENTE CORDIALE[1]

Ее основы и зачатки в 1903-1905 гг.

(Отрывки из одноименной книги, опубликованной в 1966 г. книжным издательством парижской «Культуры»)

ВАЦЛАВ ЛЕДНИЦКИЙ (1891-1967) — сын Александра Ледницкого. Родился в Москве, в 1910 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1915-1918 гг. был учителем русского языка и всеобщей литературы в польской гимназии в Москве. В 1918-1919 гг. служил в польской армии, в I Креховицком уланском полку. Затем до 1921 г. работал в политическом департаменте польского МИДа, после чего полностью посвятил себя научной работе; докторскую диссертацию защитил на основе монографии «Александр Пушкин. Исследования по истории русской литературы». В 1926 г. стал заведовать кафедрой славянских языков и литератур в Брюссельском свободном университете, а в 1928 — кафедрой истории русской литературы в краковском Ягеллонском университете, В 1933-1939 гг. был президентом Польского общества изучения Восточной Европы и Ближнего Востока.

Во время II Мировой войны через Францию и Португалию выехал в США, где преподавал историю польской литературы в Колумбийском и Гарвардском университетах. После войны остался в США. Много лет был деканом факультета славистики в Калифорнийском университете в Беркли.

Его основные публикации: «Александр Пушкин. Исследования» (1926), «Русские друзья» (1935), «Русско-польские отношения» (1944, по-английски), «Россия, Польша и мир» (1954, по-английски) и «Записки» (1963, 1967).



Независимость наша [в 1918 г.] оказалась следствием целой совокупности различных перемен, действий и событий мирового масштаба.

Разумеется, концепция независимости всегда служила путеводной звездой большинству поляков, принимавших активное участие в тогдашней политической жизни на всех трех польских территориях, аннексированных соседними имперскими державами. Однако в то время нелегко было предвидеть то, что случилось после 1914 года: разгром Германии и Австро-Венгрии и падение царизма в России. Тем не менее, если говорить о деятельности [Александра] Ледницкого в России, то полагаю, что историк, не верящий ни в провиденциализм, ни в провидческий дар человека, признает, что позиции, занятые Ледницким в этот переломный период, были верными и реалистичными.

Замечу, что те русские либералы, с которыми в самом начале XX века Ледницкий начинал свое политическое сотрудничество, в 1917 г. сыграли решающую роль в составлении манифеста временного правительства, провозгласившего независимость Польши. Таким образом, если мы будем рассматривать историю «польского вопроса» в России с 1900 по 1917 г., то неизбежно придем к выводу, что действия Ледницкого оказались в высшей степени последовательными и успешными. (...)

Если говорить об истории «польского вопроса» до того момента, как польская независимость внезапно «разразилась» в Европе, то важнейшими событиями в России следует признать русско-польский съезд, состоявшийся дома у Ледницкого в апреле 1905 г., а также последующие съезды членов земских собраний, на которых обсуждалась проблема Польши. В результате этих дискуссий постулат автономии Царства Польского был включен в программу Конституционно-демократической партии, самой влиятельной либеральной политической силы в России вплоть до 1917 г.; в I Государственной Думе «кадеты» составляли крупнейшую фракцию. (...)

Апрельский съезд [1905 г.]

Две конференции, проведенные в Москве, следует признать началом действий, направленных на достижение русско-польского соглашения в крупном масштабе. В то время в Москве и Петербурге непрерыв-

[1] Entente cordiale *(фр.)* — «сердечное согласие», употребляется в значении дружеского взаимопонимания или благожелательных отношений между двумя государствами, народами, лицами и т.п. — *Пер.*



но происходили крупные съезды земских и городских деятелей, где прежде всего обсуждалась насущная потребность реформирования общественного и политического устройства Российской империи. Дискуссии эти обычно кончались принятием резолюции о необходимости конституции, которая дала бы возможность общественным кругам и деятелям принять действенное участие в управлении судьбами России. (...)

Теперь самой безотлагательной задачей Ледницкого стало включение «польского вопроса» в повестку дня съездов земских представителей, причем речь здесь шла лишь об автономии Царства Польского, а значит, о включении пункта об автономии в программу Конституционно-демократической партии. Таким образом, следовало прежде всего найти польских союзников, которые приняли бы участие во всех этих разнообразных русских съездах и собраниях, чтобы затем организовать особый польско-русский съезд, на котором на этот раз уже многочисленная польская делегация, представляющая различные течения и фракции, смогла бы встретиться с влиятельной группой ведущих российских либералов. С этой целью Ледницкий организовал поездки влиятельных русских деятелей в Варшаву и вместе с Александром Свентоховским основал Прогрессивно-демократическую партию, председателем которой стал Свентоховский, а вице-председателем — он сам (оба они основали также Общество польской культуры).

Вскоре, 7 (20) апреля 1905 г., состоялся трехдневный русско-польский съезд в доме у Ледницкого, в котором приняло участие более 100 человек, в том числе 40 поляков, представляющих Царство Польское и наши Кресы [восточные области Польши, в данном случае — аннексированные Австро-Венгрией].

В первый день председательствовал профессор Д.Н.Анучин, а во второй — поляк, профессор М.Здзеховский. Из русских участников я упомяну лишь самых выдающихся, а также тех, кто выступил с речами: князя Е.Н.Трубецкого, Ф.Ф.Кокошкина, князей Петра и Павла Долгоруковых, В.Д.Набокова, П.Н.Милюкова, а также, разумеется, Ф.И.Родичева и В.А.Гольцева. Среди многочисленных польских участников съезда отмечу З.Балицкого, П.Подгорского, графа В.Грохольского, С.Кемпнера, В.Серошевского, Ф.Новодворского, В.Жуковского, Р.Радзивилловича.

(...) После избрания председателем Д.Н.Анучин выступил с приветствием участникам съезда, подчеркнув, что видит в нем воплощение давно уже питаемых мечтаний о братстве обоих народов. Она напомнил, что было время, когда дружба связывала Пушкина с Мицкевичем, а поляков — с русскими, но затем эти узы разорвались. И вот, подчеркнул он, оба народа снова сближаются.

После него выступил Ф.И.Родичев с обширной речью о взаимосвязанной судьбе обоих народов, о свободном и ненасильственном их объединении как единственно прочном и ведущем к цели союзе.

«Польша всегда была полем битвы за свободу, а поляки всегда становились в первые ряды бойцов. Когда мы слышим призыв к борьбе за свободу, то среди цивилизованных народов Польша всегда отвечает во всеуслышание: «Здесь!»».

Следует отметить, что Ф.И.Родичев во всех своих выступлениях и статьях на польские темы всегда использовал эту формулу.

Князь Д.И.Шаховской приветствовал собравшихся по-польски, после чего В.Серошевский ответил ему по-русски и закончил свое выступление следующими словами: «Девиз обоих наших народов должен быть один: за вашу и нашу свободу!».

После этих приветственных выступлений началась дискуссия по вопросу автономии Царства Польского. Важнейшая задача Ледницкого, а также польской группы, разделявшей его концепции, состояла в том, чтобы убедить русскую сторону в необходимости подобной автономии. Многие друзья и единомышленники Ледницкого, принявшие участие в этом событии, еще до съезда разделяли его убеждения. Но теперь речь шла о том, чтобы привлечь на сторону этой концепции либеральные круги России, заверив их, что автономия не означает сепаратизма. С этим следовало считаться перед лицом широкого общественного мнения в России. Уже тогда создавалась Конституционно-демократическая партия, и, как я уже сказал выше, главной целью Ледницкого было включение требования польской автономии в ее программу. Действовать надлежало осторожно и тактично, относясь к настроениям среди русского населения реалистически и учитывая их: поскольку все действия были задуманы в духе примирения и единения, следовало избегать любых «болезненных» вопросов. (...)

Бюро съезда под председательством Ледницкого определило темы ближайших совещаний и предложило резолюцию съезда, в которую вошли следующие положения:

— создание постоянных связей между русскими и поляками и борьба против разделяющих их предубеждений;

— взаимное информирование и обдумывание способов достижения взаимной договоренности;

— сближение польских и русских программных требований;

— разработка порядка согласованных действий с целью достижения общей программы.



Формулировка резолюции была следующей:

«Признавая необходимость автономии Царства Польского при сохранении единства и при совместном участии в российском парламенте, но с особым Сеймом, избранным всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, — съезд постановляет: отложить подробное определение границ и сущности автономии впредь до всестороннего изучения этого вопроса». (...)

Именно в это время [премьер-министр] граф С.Ю.Витте по предложению генерал-губернатора Скалона ввел в Царстве Польском военное положение, что, естественно, чрезвычайно обострило общую ситуацию. Почти все участники собрания выразили свое возмущение этим шагом российского правительства. П.Б.Струве назвал правительственный циркуляр о военном положении «глупым преступлением или преступной глупостью». Выступление Ледницкого, который как раз к тому времени вернулся из Варшавы, было посвящено этому вопросу. В нем содержался ряд личных наблюдений, представляющих события в Варшаве в мрачном свете. В ходе заседания была зачитана телеграмма от В.Г.Короленко, прекрасного и чрезвычайно популярного писателя:

«Будучи до глубины души возмущен введением военного положения в Польше, шлю приветствия всем собравшимся. Россия не нуждается в завоеваниях и стремится к братскому единству на основе свободы. Вне российской свободы не может быть решения польского вопроса, перед лицом угнетения национальностей не может быть свободы всероссийской. Совместная цель требует единства тактики. Все, кто стремится к свободе, должны объединиться и действовать по единому плану закрепления на занятых позициях, чтобы дать отпор реакции. Итак, единство, братство, свобода!» (...)

В своих выступлениях на территории Польши Ледницкий призывал к сотрудничеству с передовыми русскими либералами, рассказывал об истории либеральных течений в России, знакомил слушателей с ведущими русскими общественными деятелями и мыслителями, которые порвали с агрессивным национализмом и подготовили почву для передовой политической ориентации российских конституционалистов. Он подчеркивал честность и порядочность этих людей и стремился убедить польское общество, что победа демократии в ее борьбе против царизма в России принесет с собой справедливое решение проблемы русско-польских отношений. В своих выступлениях на митинге, организованном Прогрессивно-демократической партией, где он полемизировал главным образом с радикалами из социалистической партии «Пролетариат», он затронул еще одну тему. Он призвал к единству польского общества в этой политической борьбе, направленной на достижение национальной автономии, и объяснил, что общественно-политическое размежевание может наступить только после общей победы. В Константине [под Варшавой], говоря о судьбах Варшавы, он берущими за душу, я бы сказал, поэтическими словами изобразил все страдания польской столицы. Говоря о типичном для поляков индивидуализме, он задумывался над судьбами России, где государство сокрушило отдельную личность. Но, замечая происходящие в России крупные перемены, он выразил надежду, что русский народ, который наконец пробудился и разбивает сковывающие его цепи, протянет дружескую руку польскому народу. Поляки, утверждал Ледницкий, должны воспользоваться этим великим историческим моментом. (...)

Все усилия, которые Ледницкий предпринимал в Варшаве и в которых участвовали также русские, были направлены на то, чтобы на крупнейших общественных съездах в России польский вопрос выдвигался представителями различных польских партий, выступающими в составе как можно более многочисленных делегаций. (...)

В своих выступлениях на митинге Прогрессивно-демократической партии в Варшаве Ледницкий указывал, что Польша в ее борьбе против гнета царского правительства может найти друзей и союзников (помимо русских либералов) также среди национальных меньшинств империи. Подчеркнув необходимость дисциплины в этой борьбе за свободу, Александр Ледницкий заявил: «Мы анархии не хотим. А революции не боимся... У нас в России есть еще и иные, весьма сильные и весьма надежные союзники...» Здесь он упомянул русинов, армян, грузин, литовцев, латышей, эстонцев и евреев, подчеркнул солидарность наших интересов, выдвинул лозунг федерализма и выразил свою уверенность в том, что эта совместная борьба перерастет «в триумфальное шествие к равноправию всех народов».

В заключение я хотел бы повторить то, с чего начал этот мой скромный труд. Манифест, в котором временное правительство в марте 1917 г. провозгласило независимость Польши, а также создание ликвидационной комиссии по делам Царства Польского следует считать завершающим результатом более чем десятилетнего русско-польского сотрудничества, которое было начато в 1903 г. Александром Ледницким. В первых конференциях, а также в апрельском русско-польском съезде 1905 г., которые были организованы Ледницким по согласованию с князем Д.И.Шаховским, с русской стороны участвовали те самые деятели, которые впоследствии сыграли решающую роль в издании мартовского манифеста временного правительства.



Семен Букчин

ПОЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

С начала первой мировой войны патриотические эмоции овладели значительной частью русской интеллигенции. В зареве занимающегося пожара стало грезиться близкое национальное очищение-возрождение, способное преобразить весь мир.

Мечта о том, что война смоет все грязное, пошлое, реакционное в русской жизни и вызовет силы светлые, бодрые, обновляющие, увлекла многих. В литературно-художественной среде, в основном, думали и чувствовали подобно Леониду Андрееву, писавшему в августе: «Настроение у меня чудесное, — истинно воскрес, как Лазарь... Подъем действительно огромный, высокий и небывалый: все горды тем, что русские... Если бы сейчас вдруг сразу окончилась война, — была бы печаль и даже отчаяние...»

Смесь патриотических порывов с шовинистическими настроениями источало опубликованное в сентябре 1914 г. воззвание «По поводу войны. От писателей, художников, артистов», подписанное Горьким, Буниным, Серафимовичем, Шмелевым, Ермоловой, Шаляпиным, Виктором Васнецовым, Коровиным...

Среди подписавших воззвание русской интеллигенции, напечатанное на страницах «Русских ведомостей», не было имени Брюсова. По той лишь причине, что именно от этой газеты он еще 13 августа выехал военным корреспондентом в Польшу.

◆—◆—◆

24 июля в московском Литературно-художественном Кружке состоялись проводы уезжающего на фронт его многолетнего председателя. Поднимались бокалы с шампанским, звучали тосты... Брюсову поднесли походную сумку со всеми принадлежностями. Свою позицию он представлял достаточно ясно. На том же вечере в Кружке он сказал: «Забудьте обо мне, я еду простым чернорабочим... Будем верить в победу над германским кулаком. Славянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, право, свободу народов...»

◆—◆—◆

Корреспонденции Брюсова публиковались в большой московской либеральной или, как ее называли, «профессорской» газете «Русские ведомости». Вместе с тем часть военных очерков и заметок Брюсова печаталась в выходившей в Ярославле газете «Голос», с которой существовала особая договоренность. Уже первая заметка «Путь на запад» передает напряженную дорожную атмосферу: «Иной темы для разговоров нет. И крестьяне-белорусы в белых свитках и евреи в длиннополых сюртуках и офицеры запаса, едущие по своим частям, и польские помещики, величественные и горделивые, — все интересуются только последними вестями с границы» («Рус. вед.» , 19 авг.).

15 августа Брюсов прибыл в Вильно. «Вильна «стародавняя» (как ее назвал Ф. Тютчев) теперь имеет почти свой обычный вид», — так начинается его очередное сообщение. В памяти Брюсова ожили строки стихотворения Тютчева, написанного летом 1870 г.:

Над русской Вильной стародавней
Родные теплятся кресты —
И звоном меди православной
Все огласились высоты.

Минули веки искушенья,
Забыты страшные дела —
И даже мерзость запустенья
Здесь райским крином расцвела...

«Страшные дела» — это, конечно же, события восстания 1863 года... Совсем иным, отнюдь не тютчевским «царством теней», видится Вильно Брюсову. Он стремится разобраться в сложном

национально-культурном облике города. Но сначала — «картинки с натуры»: «На Георгиевском проспекте, этом Невском Вильны, до позднего вечера непрекращающееся движение. Оба кафе Штраля полны своими завсегдатаями. В садах «Бернардинском», «Ботаническом», «Швейцарском» по вечерам опять много публики, слушающей музыку, так или иначе развлекающейся. Но, конечно, все это — только внешность, за которой скрывается и новая напряженная деятельность и общее напряженное внимание к событиям на западе.

Достаточно войти в церкви и костелы, чтобы увидеть, какими живыми нитями связана Вильна с войной. В темных углах костелов везде увидишь коленопреклоненных женщин, выронивших свой молитвенник, крепко стиснувших руки и побелевшими губами шепчущих молитвы — за мужа или сына, ушедших с армией. У дверей зданий, обращенных в военные госпитали, где водружены белые флаги с красными крестами, всегда стоит притихшая толпа, робко пробегающая глазами списки раненых, вывешенные на стене. Утренние и вечерние выпуски газет, русских и польских, несмотря на вынужденную скудость их содержания берутся нарасхват)» (Рус. вед.», 21 авг.).

Это внешние впечатления... Для Брюсова очень важны встречи, беседы с жителями Вильно и прежде всего — с интеллигенцией города. Уже в день приезда, только устроившись в Георгиевской гостинице, он сообщает открыткой жене: «Сейчас иду с визитами по своим рекомендательным письмам».

Одна из первых встреч — с Вацлавом Ледницким, сыном давнего доброго знакомого Александра Робертовича Ледницкого. Александр Робертович, поляк по происхождению, известный юрист, был человеком широких культурных интересов, состоял членом московского Литературно-художественного кружка, в котором отличался необыкновенной активностью, выступал с замечательными речами на юбилейных торжествах знаменитых актеров и писателей. Впоследствии А.Р.Ледницкий станет одним из активных политических деятелей Второй Речи Посполитой. Его сын Вацлав, «милый юноша», будущий славист, знаток русской литературы, в ту пору был увлечен творчеством Альфреда де Виньи. Валерий Яковлевич просит жену передать собирающемуся приехать в Москву Вацлаву нужные книги.

17 августа Брюсов в коротком письме рисует свой виленский быт: «Живу здесь так, как вообще приходится мне последнее время жить в разных городах. Множество знакомых, почитатели, вопрошающие, что я думаю о том и о том, что значат те и те мои стихи, и т. д. Кое-что пишу, и отчасти, одну повесть... Здесь тихо и покойно. Люди гуляют, театры открыты, рестораны торгуют до 2 ч. ночи... В. А. (Вацлав Александрович. — С. Б.) расскажет тебе о моей жизни в Вильне, — весьма скромной».

Письмо от 18 августа раскрывает новые знакомства поэта «Попал здесь в круг белорусов, мечтающих о возрождении Белоруссии, фанатиков своей идеи, убежденных, что белорусы — единственные подлинные славяне. Видел их поэтов, ученых, филологов etc., собрание их старины, рукописей, старопечатных книг (с 1491 г.), утвари, оружия etc. Лично я этим движением нисколько не соблазнен и продолжаю думать, что никакого белорусского языка нет, а есть местный говор и скверное фонетическое правописание. Видел еще литовцев, тоже фанатиков своего народа. Не говорю уже о поляках, которых здесь больше всего и которые, конечно, верны себе и своей Польше «от моря до моря». Эх! великое дело предстоит России — спаять все это!»

«Фанатики белорусской идеи», «ученые и филологи» — это братья Луцкевичи, Иван и Антон, ведущие фигуры в белорусской общественно-литературной жизни в Вильне той поры. Иван Луцкевич, археолог и этнограф, посвятил себя собиранию белорусской старины. О знакомстве с его коллекцией и говорит Брюсов в своем письме. Антон Луцкевич, младший брат Ивана, выступал в печати как публицист, литературный критик. Оба были тесно связаны с редакцией белорусской газеты «Наша ніва», рьяно утверждали незамутненную славянскую «чистоту» белорусского племени и превозносили времена Великого княжества Литовского как воплощения торжества «белорусской идеи», на возрождение которой они возлагали большие надежды.

Брюсову далеко не все понятно в сложной национальной обстановке Вильно, где переплелись исторические корни литовцев, белорусов, поляков. Идет война, все должны сплотиться, чтобы тем самым укрепить Россию, а тут, в Вильне, на первое место выдвигаются национальные

претензии. И вместе с тем он не мог не видеть, что есть объективное начало в национальном движении: «окраинные» народы тянутся к свету, культуре, хотят заявить о себе миру. И шлют вперед своих гонцов — поэтов.

В те же дни он знакомится с талантливым белорусским поэтом Янкой Купалой, который навещает его в Георгиевской гостинице. Отказывая в самостоятельности белорусскому языку (только в письме к жене), Брюсов буквально в тот же день, 18 августа, берется за переводы стихов Купалы. Художническое чутье не обманывало, оно говорило: это подлинная поэзия. Брюсовские переводы отнюдь не любезность, это именно движение души художника, отклик на настоящее искусство. Здесь проявилась и та широта, которая позволит Горькому назвать Брюсова «самым культурным писателем на Руси», тот поиск ценностей в духовной жизни других народов, который буквально через два года приведет его к созданию антологии армянской поэзии.

Белорусы опекали московскую знаменитость. В честь Брюсова был устроен литературный вечер. Вот как вспоминает об этих днях жена Янки Купалы Владислава Францевна: «В августе 1914 года в Вильну приехал В. Я. Брюсов. Приезд его был чрезвычайным литературным событием. Состоялось несколько вечеров, на которых русский поэт выступал с чтением своих произведений. Вспоминается один вечер, который состоялся в помещении литовского клуба «Рута».

Зал был полон. Слышались польский, русский, литовский языки. На этом вечере был и Янка Купала. Его познакомили с В. Я. Брюсовым. Они в Вильне встречались несколько раз на товарищеских вечерах. Брюсов навестил белорусский книжный магазин и редакцию газеты «Наша ніва».

Редакция газеты «Наша ніва» вместе с редакцией «Вечерней газеты» организовали товарищескую вечеринку в честь поэта. Брюсов произвел большое впечатление на Янку Купалу своей эрудицией, суровостью и простотой. Янка Купала подарил ему свои книжки. На книжке «Шляхам жыцця» он написал: «В. Я. Брусаву на добрую памятку першага спаткання ад вучня і паклонніка. Вільня, 13/VIII.1914 года». Через некоторое время Купала начинает получать от Брюсова листы с переводами стихов на русский язык».

На листке с переводом «По лесам как зацветали» Брюсов сделал дарственную надпись: «Ивану Доминиковичу Луцевичу (это настоящие имя и фамилия Купалы. – С.Б.) на память о встрече, с благодарностью за посещение. Вильна, 18 августа 1914 г.».

На следующий день после визита Купалы в Георгиевскую гостиницу Брюсов послал ему свои переводы с сопроводительной запиской, сохранившейся в архиве литературоведа Л. М. Клейнборта: «Я познакомился уже с Вашей поэзией, нахожу в ней много прекрасного, настоящего. Посылаю Вам четыре Ваших стихотворения, которые не скажу «перевел», но переложил на русский язык. Я предполагаю поместить эти мои переводы — со вступительной заметкой о Вас — в «Русской мысли».

Все четыре перевода из Купалы тогда же появились в виленской «Вечерней газете». Первая публикация снабжена анонимным предисловием: «На днях в Вильне гостил один из корифеев русской поэзии — Валерий Яковлевич Брюсов. Знакомясь с жизнью города и края, поэт с особенным вниманием остановился на творчестве белорусского народа, последним в славянской семье вступившего на путь национального возрождения. Более всего заинтересовала В. Я. Брюсова новая белорусская поэзия, — и он за время своего пребывания в нашем городе перевел на русский язык несколько стихотворений талантливого белорусского поэта Янки Купалы, причем любезно разрешил напечатать эти переводы в «Вечерней газете»».

◆—◆—◆

Виленская неделя Брюсова... Она была заполнена новыми знакомствами, встречами, беседами, прогулками по городу. Брюсова пригласили участвовать в сборнике «День искусства». На титуле книги, выпущенной типографией Мартина Кухты, указано — «8-XII-1914». 8 декабря виленское «Художественное общество» организовало «День искусства» — одну из принятых в ту пору общественных акций «в помощь пострадавшим во время войны». В этот день, как сообщала накануне (7 декабря) «Вечерняя газета», в кондитерских, ресторанах, кафе, кинотеатрах должны были выступить «лучшие артистические силы города». Жителей

призывали жертвовать «кто что может» деньгами и вещами. Пожертвования предназначались «воинам и пострадавшим от войны в Виленской губернии». 8 декабря в Театре Польском состоялся «вечер миниатюр с участием всей труппы». На улицах продавали специальные эмблемы-марки и сборник «День искусства» — плод солидарности «в час испытаний» виленских литераторов как представителей своих народов. Книга объединила произведения на пяти языках — русском, польском, литовском, белорусском и еврейском. Открывается сборник публикацией из дневника Чюрлениса и стихотворением Брюсова «В Вильне». Купала напечатал здесь «Песни войны». Опубликованное в «Дне искусства» стихотворение Брюсова — одно из виленского цикла, созданного во время пребывания в городе.

Виленские дни оказались творчески насыщенными... Корреспонденции в «Русские ведомости», переводы «из Янки Купалы», свои стихи... Здесь была начата повесть «Моцарт». Ее герой, бедный талантливый скрипач, тяжело переживает оскорбления, наносимые его жене-немке шовинистически настроенными соседями... Война постучалась в прозу Брюсова.

15 августа помечено стихотворение «В Вильно». День приезда...

И сердцу так сладостно биться
При виде с Замковой горы.

Брюсову близка «стародавняя Вильна» с ее «сетью улиц, строений и крыш», спокойной Вилией, бюстом Пушкина под молодыми липами. Но «за кругом холмистым... буйствует шумно война...» Это ощущение продиктовало 17 августа стихотворение «Все чаще»:

Все чаще по улицам Вильно
Мелькает траурный креп.
Жатва войны обильна,
Широк разверзнутый склеп.

Сон старого города нарушен гулом пушек... Хотя все еще дремлет «ребенок чудесный, Вильно патрон» — святой Казимир. И «красота точеных венцов» — собор святой Анны — предстает «сном далеких веков». В августовском Вильно четырнадцатого года написано и стихотворение «Еврейским девушкам», продолжающее традицию «еврейских мелодий» в русской поэзии:

Как будто в вас ожили виденья библейские...

◆◆◆

Брюсов уезжал из Вильно. Поезд шел навстречу фронту, войне. Он волновался: как примет его, русского поэта, варшавская интеллигенция, польские писатели?

Приехал в Варшаву 20 августа. И в первой же корреспонденции отметил, что польская столица «осталась сама собой — с оживленными, шумными улицами, с приманчивыми огнями своих уютных кофеен и маленьких баров, со сверкающими вывесками «кинема» и афишами театров... Истинные варшавяне, а тем более варшавянки, какие бы глубокие волнения ни колебали их душу, всегда умеют сохранять в своей внешней жизни то изящество и ту легкость, которые и придает Варшаве ее пленительное своеобразие» («Рус. вед.», 26 авг.).

Варшавским гидом и опекуном Брюсова сделался старый знакомый Александр Робертович Ледницкий. «Он сразу «схватил» меня под свое покровительство, — писал Брюсов жене 23 августа, — и начал возить всюду. Я побывал во всех редакциях, у всех знаменитых писателей и у всех видных общественных деятелей, особенно у последних. Пришлось научиться если не говорить, то понимать по-польски. Все говорят по-польски, а я отвечаю по-русски. И, представь себе, — ничего, так или иначе разбираюсь... И целые дни я произношу речи, слушаю и спорю о «польском вопросе». Уверяю тебя, я сделался его прекрасным знатоком, и все меня принимают как поборника польской идеи. Вот что сделали мои стихи, где поминается «Польска не сгинела!»

Написанное в день начала войны, 1 августа, стихотворение «Польше» призывало к единству народов, было проникнуто верой в будущее Польши, побратавшейся с Россией:

И крики «Польска не сгинела!»
По-братски с русским гимном слей!

Переведенные на польский Э.Слонским, эти стихи вышли отдельной открыткой и сделались таким образом известны многим.

24 августа «Польское общество литераторов и журналистов» устроило заседание в честь Брюсова. В тот же день это событие было описано в письме к жене: «Было много народа. Произносились речи по-польски, по-русски, и по-



французски. Говорили, что сегодня — великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде приветствовать русского поэта, хотя бы столь великого, как я (это — их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений и т. д. и т. д. Я, сколько умел, отвечал, конечно, по-русски, но и на польские речи, которые должен понимать. Потом декламировали мои стихи «К Польше». Редактора приглашали меня сотрудничать в их польских журналах. Одним словом, еще один «триумф»».

Немного иронизирует, но несомненно доволен. «Еще один «триумф»» — значит, предыдущий был в Вильно?.. А в общем, все так и есть: до Брюсова ни один русский писатель не был приглашен в здание «Общества польских литераторов и журналистов», находившееся на улице Братской. Брюсов познакомился с поэтом Слонским, известным романистом Юзефом Вейсенхофом, графом Любомирским, говорившим только по-французски, с каким-то «ксендзом-профессором», деликатно обращавшим его в католичество. Но особенное впечатление произвел Александр Свентоховский — «патриарх польской журналистики, старик с головою пророка». Умница, острослов, энциклопедист, Свентоховский буквально очаровал Брюсова. Этот факт следует оценить, памятуя о всегдашней брюсовской сдержанности. Не случайно он иронизирует: «Впрочем, все со мной очень милы, так что я тоже делаюсь милым».

В день встречи с польскими писателями Брюсов пишет стихи «В Варшаве» и посвящает их своему другу Александру Ледницкому:

Я пришел путем большим, как русский,
И, как русский, слышал я привет.

А в сентябре он дважды посетит клуб писателей-модернистов. Будет читать там свои стихи, целые циклы, как бывало в московском «Обществе свободной эстетики». Понятен интерес польских модернистов к русскому поэту, лидеру модернистской литературы в России. О вечере, состоявшемся 9 сентября, Брюсов напишет жене: «Это чествование меня в газеты не попадет, т. к. модернисты здесь еще в загоне. Но много милых людей и хороших поэтов. Собралась у меня целая библиотека поднесенных мне книг с авторскими надписями. Хочу отослать в Москву».

Он стремится больше времени проводить на улицах Варшавы. Сдержанный, немногословный, даже кажущийся суровым, Брюсов внимательно наблюдает, слушает. Ему нужно многое понять. «От самих раненых особенно интересных разговоров мне не пришлось слышать, — признается в заметке, посвященной варшавским госпиталям. — Рассказы были, по большей части, стереотипные. Но было заметно, что громадное большинство солдат, как русские, так и поляки, сознательно относятся к этой войне» («Рус. вед., 29 авг.). И особенно приятно, что «в польских городах осыпают русские полки цветами; польские крестьяне не хотят брать денег за хлеб, за молоко... польские девушки проводят ночи над постелью раненых казаков...» Во всем этом видится «новый круг чувств», переживаемый Польшей («Рус. вед.», 2 сент.).

Но впереди было главное, то, ради чего он приехал, — видеть войну своими глазами. Брюсов отправляется в северную Польшу в первых числах сентября, когда изменилось положение на прусском восточном фронте. Немцы вторглись в Плоцкую и Ломжинскую губернии. В районе Пултуска произошла встреча с беженцами: «Мужчины обступили наш автомобиль, прося у нас разъяснения, скоро ли им можно будет вернуться к себе домой.

— Хлеба у нас нема, пане, — твердили они. — Малые дети с нами, чем их будем кормить? Скот где пасти? Может, нам какая помощь будет?»

К голоду, разорению добавилась безработица. Одну из своих корреспонденций Брюсов так и назвал «Безработица в Польше»: «Каждый день на каждой бирже регистрируются сотни новых заявлений, устроить же удается едва ли несколько десятков человек» («Рус. вед.», 23 сент.).

Во второй половине сентября состоялась поездка на Юго-Западный фронт, в Галицию, где русские войска, нанеся сокрушительное поражение австро-венгерской армии, вышли на линию в восьмидесяти километрах от Кракова и осадили Перемышль, Люблин, Замостье, Томашув, Ярослав — таков был маршрут. В отправленных с пути заметках Брюсов-корреспондент соседствует с художником, испытывавшим давний и глубочайший интерес к истории и культуре Европы. Автор «Огненного ангела», романа из эпохи Реформации, замечает, что в Люблине «узкие закоулки помнят

XVI век». Тот самый век, в котором живут герои «Огненного ангела» — Рупрехт и Рената. Черная колонна на большом бульваре символизирует Люблинскую унию... «О славном прошлом говорят старинные костелы и монастыри, готические и стиля барокко, и характерное здание магистрата (ратуши) с козлом на шпиле — герб города». А вот и свидетельства недавних событий: пушки, отнятые у немцев в Галицийской битве. Они поставлены перед городским собором. На каждой латинские надписи: «Pro gloria et patria» и «Ultima ratio regis» («За славу и отечество» и «Последний довод королей»). И вензель кайзера Вильгельма II. О запечатлении «довода королей» на французских пушках когда-то позаботился кардинал Ришелье. Эту надпись на прусских полевых орудиях повторил Фридрих II. И вот теперь — Вильгельм II... Быть может, об этом размышлял Брюсов на старинной площади Люблина...

Сожженные деревни, вытоптанные поля, среди которых видны одинокие фигуры женщин, выбирающих сохранившиеся головки кукурузы, роющих картофель, выбитый конскими копытами... Эти картины войны дополнялись рассказами жителей, вернувшихся на родное пепелище:

«Крестьяне, с которыми мы разговаривали, с ужасом рассказывали нам о неистовствах австрийцев: они грабили, наступая, и грабили, отступая, жгли, когда шли вперед, и жгли, когда бежали от преследующих их казаков. Особенно все жаловались на те насилия, которые чинились австрийцами над женщинами. «Женская повинность» была возведена у австрийцев чуть ли не в систему. Офицеры прямо приказывали: привести в такую-то часть войска столько-то женщин. Не исполнить подобного приказа было невозможно; за ослушание полагался расстрел. После этого понятно, что местные жители, когда была хоть малейшая возможность, бежали из деревень при приближении германских отрядов и прятались по лесам, где жили в норах и на деревьях...» («Рус. вед.», 25 сент.).

Колеблются нивы от гула,
Их топчет озлобленный бой...
И снова безмолвно Микула
Взрезает им грудь бороной.

Эти свои стихи Брюсов невольно вспомнил, глядя на «усердные работы на местах битв» — подрезку хмеля, «растущего здесь на высоких жердях сажени в две высотой», засыпку бороной свежеразбросанного зерна. Исконный труд земледельца соперничал с войной, усеявшей землю своими знаками — безмолвными, без всякой надписи крестами. На одном Брюсов с волнением прочел кем-то тщательно выведенные слова: «Прощайте, товарищи!»

Картину полного разорения явил корреспондентам Томашувский уезд. Брюсов особенно внимателен к его жителям. Ведь это уже Галиция! Область этнически близкая Украине и вместе с тем столь своеобразная... Край сложной исторической судьбы, ставший ареной военных действий между австро-немецким блоком и Россией. Какие же они, жители Галиции? Брюсов спешит удовлетворить интерес читателей:

«По внешности галичане действительно напоминают наших малороссов. Но есть что-то особенно скорбное в облике галичан. У многих из них длинные бледные лица с пристальными глазами. Выражение — не то наивно-простоватое, не то уныло-покорное. Мужчины одеты как польские крестьяне или в белые свитки; как курьез можно отметить, что на многих — австрийские шинели, в которых теперь часто щеголяют возчики, пастухи, пахари. Женщины в каких-то длинных, белых платках или балахонах, что придает им вид привидений. Местный язык, сколько можно судить по беглым наблюдениям, почти украинский, но галичане говорят с особым выговором, благодаря чему их речь более понятна русскому, чем речь малоросса. Я, по крайней мере, лучше понимаю галичан, чем понимал украинцев. Сами галичане легко понимают русский разговорный язык, и мы без труда могли вести беседу со встречными крестьянами.

К нам, русским, галичане относились с поразительным добродушием и, так сказать, доверием» («Рус. вед.», 27 сент.).

30 сентября немцы подошли к предместьям Варшавы. Кайзер Вильгельм прибыл на фронт, чтобы триумфально вступить в польскую столицу. Но в начале октября русские войска перешли в

наступление на варшавском и ивангородском направлениях и отбросили германскую армию на исходные рубежи. Брюсов вновь едет по местам боев на северном фронте:

«...опустошения австрийцев — это последствия или сражений, или буйства бесчинных солдат, которых командиры не хотели и не умели удержать. Опустошения пруссаков напротив — результат систематического уничтожения, произведенного под руководством старших офицеров. Австрийцы разрушали дома артиллерийским огнем во время боя, перерывали нивы, топтали конницей поля кукурузы. Пруссаки сознательно сравнивали с землей населенные места, машинами собирали в полях картофель, уносили и увозили из городов все, что только можно было взять» («Рус. вед.», 12 окт.).

Педантичность кайзеровских вояк оборачивалась подчас и комической стороной. Приключениями бравого солдата Швейка веет от брюсовского рассказа о действиях немецкой цензуры в Лодзи и отступлении немцев из этого города. Немцы вошли в Лодзь 25 сентября вечером. Редакторы местных газет, уже подписавшие утренние номера своих изданий, наскоро выбросили наиболее обидные для немецкого самолюбия статьи. Тем не менее в пятницу утром лодзинские газеты вышли с телеграммами, сообщавшими об успехах русских войск в Галиции. Немцы, привыкшие к информации, поставлявшейся «Агентством Вольфа», читали эти сообщения с недоумением. Вызванным к военному начальству семерым редакторам был представлен цензор, некий ландштурмист, не знавший ни польского, ни русского языков. Страшная боязнь подвоха буквально истерзала его. Ландштурмиста заменили штабным офицером, который потребовал, чтобы утренние газеты ему доставляли к шести часам вечера, а вечерние — к одиннадцати утра.

В результате лодзинской операции, проведенной в конце октября — начале ноября, немцы оказались окруженными и вынуждены были выйти из города. «Немало немецких солдат, — рассказывает Брюсов, — осталось в городе. Их находили в домах, занятых под казармы, в помещениях клубов, в частных квартирах. Немцы объясняли, что проспали час выступления их полка, но больше вероятия, что они остались в Лодзи намеренно. Бесконечные переходы по тяжелым дорогам истомили пруссаков, и они предпочли сдаться в плен. Как анекдот рассказывают, что несколько немецких солдат поехало на пригородном трамвае (ходившем все время) навстречу русской армии, чтобы поскорее сдаться в плен» («Рус. вед.», 6 ноября).

Вообще что такое кайзеровский солдат? Чем он жив? На что надеется? Увидеть лицо противника, понять его... В Лодзь несколько дней подряд привозили партии пленных. Брюсов увидел измученных, изможденных людей, не желающих воевать. «Нас обманывали, говоря, что войне конец», — слышит он от пленных. Больше половины — «это юноши, которым следовало бы еще читать Софокла и Тита Ливия, а не подставлять свою грудь под русские пули ради осуществления планов кайзера. Бледные, исхудалые, измученные непосильным трудом, проходят эти гимназисты по улицам враждебной им Варшавы, но как-то не вяжется с ними название «враги». Какие это враги, когда хочется сказать им: «Ну, пошалили и будет! Ступайте опять играть в лаун-теннис!» («Рус. вед.», 21 ноября).

После сражения под Ловичем Брюсов бродит между окопами: «Окопы пусты, но около них, там и здесь, навзничь, ничком, на боку, раскинув руки или прижав их к груди, с лицами то искаженными мукой, то странно-спокойными, лежат тела немецких солдат. Большинство их них — в своих темных мундирах; другие — полураздеты; с них сняты сапоги и куртки; некоторые — в русских шинелях, надетых, очевидно, чтобы защититься от холода. Есть среди убитых юноши, почти мальчики, с кроткими личиками, с едва пробивавшимися усиками; есть люди пожилые, серьезные, лет за 40, давно, вероятно, устроившие свою жизнь прочно, никогда не думавшие, что им суждено ее закончить в чужой России, на снежном зимнем поле; почти совсем нет солдат «призывного» возраста, между 20-ю и 30-ю годами. Школьники и ландштурмисты — вот кого выставляет теперь против нас Германия» («Рус. вед.», 20 ноября).

Бессмысленно-жестокий лик войны все очевиднее для Брюсова. Жуткая бесчеловечность происходящего, ставшая обыденностью, пронизывает стихи, под которыми стоят названия польских городов и местечек. «Поле битвы» написано в Пруткове:



Залито поле, как золотом,
Щедрым посевом патронов.
Вдалеке, как гигантским молотом,
Расколоты гребни склонов.

На холмике ждет погребения,
Ниц повергнуто, тело солдата.
Слабый запах тления,
А в руке письмо зажато.

Рядом тела лошадиные:
Оскалены зубы, изогнуты шеи...
Ах, не труды ль муравьиные
Эти валы, окопы, траншей?

Видел я: меж винтовок раздробленных
Лежит с дневником тетрадка;
Сколько тайных надежд, обособленных,
В нее вписывал кто-то украдкой!

Брюсов здесь намеренно «репортажен»: вот она, война, в ее «бытовом» виде, без героических прикрас. Война стирает разницу между живым и мертвым и пишет свой холодный перечень, в котором соседствуют трупы людей и животных, предметы быта, военного снаряжения... И лишь одна деталь притягивает к себе особое внимание. Зажатое в руке письмо, «с дневником тетрадка» — это послание мертвых к еще живым. И, может быть, в этих посланиях заключена некая «разгадка» войны?

Сегодня мы знаем цену документу, высоко ставим документальную литературу о войне. Более семидесяти лет назад, на полях первой мировой Брюсов понял значение документа и стал собирать то, чем никто не интересовался: «Передо мной — груда исписанных листков бумаги, грязных, измятых, частью изорванных. Многие, даже большая часть, испачканы кровью... Это немецкие письма, которые я сам подобрал на полях битв, около тел убитых немцев»(...)

«Мы видим из этих писем, что невесело живется немецкому солдату и невесело его жене, оставшейся дома. Солдаты терпят от голода, от холода, от недостатка табаку; их жены мучительно борются с нуждой... Но не это самое важное в собранных мною письмах. Как ни случайно и как ни мало мое собрание, все же разве не поразительно, что из 60-и писем не оказалось ни одного, которое было бы полно энтузиазма, великих надежд, веры в национальное дело?» («Рус. вед.», 14 дек.).

С настроением у немцев все ясно. А как у своих, у русских солдат и офицеров? Русский очерк, параллельный «Письмам врагов и к врагам», конечно же, не мог появиться... Хотя бы по той причине, что русская женщина, как отмечается в «Письмах врагов...», чувствует то же самое, что женщина в Германии. Стоит повести эту параллель дальше, в область экономики, и картина будет столь же безотрадной. Поэтому так сдержан Брюсов, когда говорит даже об успехах русских войск. Во имя чего все это страшное дело? Цель, казавшаяся ясной и благородной, стала меркнуть. Энтузиазм, великие надежды, вера в национальное дело — все это сникло не только с немецкой стороны. И на этом фоне явственнее высветился звериный оскал войны. После боев под Брезинами и Ловичем Брюсов пишет стихотворение «Пиршество войны»:

Война здесь прошла, прокричала
Стальными глотками пушек,
В руке дома изломала,
Как вязку хрустнувших сушек.

Вот там, за сырым перелеском,
Гости Войны сидели,
Она забавляла их блеском
Пускаемых к небу шрапнелей.

Смерть-сестру пригласила: «Участвуй, —
Ей сказала, — как старшая, в пире!»
Подавались роскошные яства,
Каких и не видели в мире.

Нет немцев и русских, нет чьего-то права на убийство... Есть чудовище Война и ее кровожадные гости, оставляющие после себя только «трубы обгорелые — вдоль дороги». Не противоборство воюющих сторон, а образ Войны становится центральным и в поэзии, и в военной публицистике Брюсова.

Цензура чувствует прорывающийся антимилитаристский дух корреспонденций Брюсова, и все чаще «украшает» их своими вычерками, особенно в тех местах, где рассказывается о страданиях населения. Брюсова все более волнует судьба края, ставшего ареной борьбы двух огромных армий, терпящего «все новые и новые лишения». Изрытые окопами поля, разрушенные артиллерией



города и деревни, голод, холод — вот как выглядит то, что в сводках красиво именуется «театром военных действий».

Нехватки в живой силе и вооружении вынудили русское командование отвести армии Северо-западного фронта на рубеж рек Бзуры, Равки, Пилицы и Ниды. Приостановилось и медленно развивавшееся наступление на Юго-Западном фронте, где русские подошли на 20-40 километров к Ченстохове и Кракову. С середины декабря на Восточном фронте наступило затишье. Воюющие стороны словно договорились мирно встретить Рождество. Относительное спокойствие нарушали налеты немецких аэропланов на Варшаву. Воздушные бомбежки — это было внове. И Брюсову видится

С какой змеящейся улыбкой
Качнут два немца в небе бомбы!

◆—◆—◆

Ноябрь и декабрь 1915 г. — это поездки то в автомобиле (когда он не в ремонте), то в вагоне санитарного поезда. Частые спутники Брюсова — англичанин Филатов, корреспондент газеты «Речь» Демьянович, поэт и драматург Александр Федоров. Брюсову очень хочется довести дело до конца: «Хочу, чтобы мои впечатления обняли весь цикл войны, от начала до конца».

А в Варшаве, несмотря на близость фронта, нарастает предновогоднее оживление. Брюсов по-прежнему — званый гость на литературных вечеринках. Чаще других приглашает Слонский. Он поэт и зубной врач, лечит зубы Брюсову. О качестве лечения Брюсов никак не отзывается, но явно доволен, что Слонский перевел его стихи «От Альп неподвижных до Па-де-Кале», которые вернул Струве из «Русской мысли». Брюсов считает их лучшими своими стихами о войне.

Новый год его пригласил встретить в своем семействе глава фирмы «Розе», Брюсов не запомнил его фамилию. Может, и по той причине, что было скучно, ибо по-польски он все-таки не понимал. Повторилось то же, что было на недавней вечеринке у Слонского, где собралось много поэтов и художников. Поляки читали свои стихи, Брюсов и Федоров — свои. «Поляки не понимали наших. Мы не понимали польских. Но, как люди вежливые, весьма друг друга хвалили и всем восхищались: иной раз невпопад».

Так что же сулит грядущий 1915-й год? Брюсов все чаще задумывается над этим вопросом. Порой ему кажется, что есть признаки близкого окончания войны («немцы явно устали»). И, быть может, к весне война будет идти уже в пределах Германии... К аллегории «Семейная картинка», написанной в новогодние дни, он ставит эпиграфом строки из любимого Тютчева:

И вот в железной колыбели
В громах родится новый век.

Склонившись над этой колыбелью, «дряхлая Судьба» поет, «но песнь ее — пальба, и светит в детской — блеск шрапнелей». Невеселая «семейная картинка», где младенцу «винтовку тащит Время». Как совместить с эпохой ужасов и разрушений тягу к культурному созиданию, которая была сутью натуры Брюсова? Этот конфликт все чаще возникает в стихах тех дней:

Забылось все: шум битв и вопль страданий...
Вдвоем, во храме мировых пыланий,
Слагали мы гимн красоте земной...

◆—◆—◆

Передышкой на фронте Брюсов воспользовался для поездки в Москву. 13 января он уже выступал в Литературно-художественном кружке на «Польском вечере», читал свой перевод из Юлиуша Словацкого «Грустно мне, Боже...» и свои стихотворения на темы войны. Приезд Брюсова, его военные впечатления вызвали большой интерес публики. Встрече с Брюсовым, как военным корреспондентом, и двадцатипятилетию его литературной деятельности было посвящено специальное заседание Литературно-художественного кружка, состоявшееся 18 января. Председательствовавший на нем известный театральный деятель А.И.Сумбатов-Южин отметил, что корреспонденции Брюсова в «Русских ведомостях» «стоят на высоте переживаемого момента». Вячеслав Иванов посвятил свою речь характеристике творчества Брюсова. Брюсовское ответное выступление дышало суровым опытом войны: «Если бы пришлось выбирать между поэзией и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия и торжествует Великая Россия». Ему казалось, что не время говорить о поэтах и поэзии.



Но именно поэзия, творчество были самым естественным состоянием его духа, и оно не отгораживалось от времени, а всегда питалось им. Подтверждением этому прозвучало и прочтенное самим поэтом стихотворение «На Карпатах», где говорится о «древнем крае — колыбели славян». Война как бы подтолкнула интерес Брюсова к судьбам восточного славянства:

Шли сербы, чехи, поляки,
Полабы и разная русь.
Скрывалась отчизна во мраке.
Но каждый шептал: «Я вернусь !»

Брюсов видел движение народов, сам прошел по их «крестному пути». Его сострадание судьбам близких славянских народов нашло отклик в польской поэзии. На том же московском вечере 18 января Лео Бельмонт прочитал свое стихотворение «Валерию Брюсову»:

Над Польшей и Россией пусть
пройдет свобода
И озарит всю землю
солнечным лучом...
В той цепи золотой,
что свяжет два народа,
Ты будь, поэт,
любви прекраснейшим звеном!

◆—◆—◆

В конце января 1915 г. Брюсов возвратился в Варшаву. Он успел к началу немецкого наступления в районе Мазурских озер. 10-я русская армия вынуждена была отойти на южный берег Бобра. Но форсировать реку и взять стойко защищавшуюся крепость Осовец немцам не удалось. Сильнейшие бои разгорелись в районе Прасныша, и Брюсов спешит туда, где был пять месяцев назад. Новая черта сразу бросилась в глаза: война сделалась чем-то привычным для населения. Даже дети не обращают внимания на гул канонады и вспышки разрывающихся шрапнелей. Померкли окровавленные призраки Млавы и Ченстоховы. Война стала бытом. Цензуре не нравятся эти наблюдения корреспондента «Русских ведомостей». Вычерки следуют все чаще. Обостряется и конфликт с фронтовым начальством, от которого непосредственно зависит корреспондентская работа.

Поездка в Перемышль стала последним фронтовым маршрутом Брюсова. Крупная австрийская крепость из пятнадцати фортов, оборудованных броневыми башнями, с гарнизоном в сто тридцать тысяч человек, была осаждена с осени. 9 марта она капитулировала. Брюсов был в городе три дня спустя после сдачи. В двух номерах «Русские ведомости» публикуют его большой очерк «Взятый Перемышль». Быт, нравы, жизнь города в дни осады — все остро интересует Брюсова. Осада еще резче высветила демаркационную линию внутри Перемышля — между бедностью и богатством. «Вообще за деньги в осажденном Перемышле можно было достать почти все. Голодали только неимущие. Для них была организована бесплатная раздача обедов, но число имеющих на них право было ограничено, и получение их было связано с различными затруднительными формальностями. Таким образом, население осажденного города разделилось на две части: на людей богатых, которые жили «как ни в чем не бывало», только должны были не жалеть денег, и на бедняков, которые действительно терпели всякого рода нужду и лишения.

Пока бедняки несли на себе все бремя осады, люди состоятельные искали развлечений. Театр, хотя и не каждый день, но функционировал (играла группа любителей). До сих пор на стенах Перемышля можно видеть старые театральные афиши, относящиеся ко дням осады...

К числу развлечений перемышлян относились прогулки в сторону фортов. Горожанам не разрешалось уходить из города далее черты первых укреплений. Но на этом пространстве были небольшие холмы, с которых, хотя смутно, можно было различить русские позиции. Жители города в ясные дни ходили «любоваться» дымками разрывающихся шрапнелей и слушать гул пальбы. Много, вероятно, раздавалось при этом веселых шуток по поводу тщетных усилий русских, которым все равно никогда не удастся попасть в вожделенный для них Перемышль!» («Рус. вед.», 25 марта).

Оказывается, в войне для кого-то была и экзотика, напоминавшая чуть ли не эпоху походов Наполеона. Эта фальшь была сразу распознана Брюсовым. От «беспечной веселости» и «дружественной любезности недавних врагов» он уходит к тем, для кого война была горем. Толпы простых женщин он видит в костелах. Они молятся, что-то шепчут. «Эти женщины, вероятно, больше, чем все другие, чувствовали гнет осады. Их мужья на фортах рыли траншеи, утешались фантасти-

ческими слухами об австрийских победах, сходились в своем «политическом клубе» у какого-нибудь цирульника «с одной тарелочкой»; а именно «жены», оставшиеся дома, испытывали, что значит не иметь молока для детей, отдавать последние геллеры за хлеб, который чудовищно дорожает каждый день, относить лавочнику в залог свое белье или праздничный костюм мужа. Вглядываясь в ровные темные ряды склоненных женских голов, ловя чуть слышимый молитвенный шепот, поглощаемый могучим пением органа, я думал о том, что такое ее зрелище представляли, вероятно, костелы в Перемышле и во дни осады. Люди состоятельные ехали в театр или на концерт, устраивали вечеринки у себя дома, где мило шутили над меню своего ужина, включавшим конину... Беднякам же, действительно голодавшим, мерзнувшим в нетопленых комнатах, лишенным всякой работы и всякого дохода, некуда было пойти, кроме храма, и, конечно, ежедневно костелы наполнялись толпой коленопреклоненных, молящихся, плачущих женщин...» («Рус. вед.», 29 марта).

Брюсов бродит по улицам прекрасного старинного города, расположенного в глубокой долине Сана, на высоком холме, отроге Карпат. То, что для него ранее было смутной догадкой, обретало черты несомненной истины. Ярослав, Львов, а теперь Перемышль красноречиво свидетельствовали: «лоскутная империя», «счастливая Австрия» в течение веков не смогла объединить в одно целое разные народы. Он заходит в городской музей, знакомится с газетами, книгами, отмечает высокий культурный уровень изданий на немецком и польском языках. Немцы и поляки сильны многовековой культурой своих наций. Но какое жалкое существование, в нищете, на низкой ступени развития, влачат автохтоны — русины. Брюсов считает «первоочередной задачей» «культурное развитие русин, внесение в их среду образованности, распространение среди них знаний, возрождение самобытности — все то, что было ненавистно господствовавшему в крае германизму...»

Возвращение из Перемышля было тяжелым. У автомобиля лопнули шины и камеры. Одно колесо обмотали одеялом и так доехали до Варшавы. Желание «отдалиться от своей работы и совсем вернуться в Москву» нарастает, хотя Мануйлов из редакции «Русских ведомостей» убеждает остаться, твердит о нужности его корреспонденций... Да и сам Брюсов не уверен. 1 апреля пишет жене: «Жаль бросить свое дело, не кончить его. Словно не дописать до конца романа или драмы. Обидно будет потом издать свои корреспонденции под заглавием: «Первые месяцы войны». И все кажется, что претерпеть остается уже немного. Когда же подумаю, что вдруг моему преемнику доведется за русской армией вступить в Берлин, тогда как я «вступал» только в Перемышль, у меня, как говаривал Пушкин, «кровь портится». Как уступить такое? Вот я и верчусь в колесе».

Он еще верит в поворот военных событий... Мечтает о книге своих корреспонденций, которые так и останутся на газетных страницах... Продолжается и варшавская культурная «карусель», зовет в гости Слонский... Дважды побывал в «Кухне» писателей. Свои именины отмечал в ресторане. С художником Сугановым был в опере, слушал великолепно поставленную «Вальпургиеву ночь». И балет из «Фауста» не уступит московскому: бакстовская пластика балерин, обнаженность танцовщиц «крайняя»...

Но усталость копилась. И война стала обретать черты гнетущей безвыходности, замкнутого круга, в котором царит смерть. И все сильнее становилась жажда «слов магических, радостных легенд и скорбных былей» — всего, что далеко даже от напоминания о войне. Четвертым апреля помечены строки, свидетельствующие о духовном кризисе:

Позабыться вымыслами хочется, —
Сказками, где ведьмы, феи, черти;
Пусть, готовя снадобье, пророчица
Мне предскажет час грядущей смерти;

Пусть прискачут в черных шлемах рыцари,
Со щитами, в пятнах черной крови...
Ах, опять листок, в котором цицеро
Говорит про бой при Августове!

К середине апреля нервы напряглись предельно. Он уже освоился с мыслью, что бросит свое дело корреспондента на половине, не доведя его до конца. Но ехать в Москву невозможно. Невозможно вернуться с грузом прежних страстей и привычек. 14 апреля Брюсов пишет жене «важное» письмо, о котором предупреждал ранее: «Я твердо хочу после встречи начать ту «новую жизнь», о которой мы с тобой столько раз мечтали... А для того надо стереть во вне и внутри себя все следы старой... Позволь же мне это дело довести до конца и приехать к тебе таким, каким я хочу быть и каким ты меня хочешь видеть».

Иоанна Матвеевна понимает эзотерический язык мужа (сама задала соответствующий тон) по-своему и рвется в Варшаву «спасать»... В открытке от 20 апреля Брюсов «срывает покровы»: «Спасать меня нет необходимости. И нет причин. Говоря, наконец, прямыми словами, я скажу просто: морфием я не пользуюсь, уже давно и совершенно, и говорил я не о нем». И 22 апреля: «Я же еще в Москве прекратил эти опасные забавы».

Наконец, решение принято: через две недели он возвращается в Москву. В ожидании ответа из «Русских ведомостей» совершает небольшие однодневные поездки, переводит «Энеиду», встречается с приехавшим из Петрограда писателем Виктором Муйжелем... И вот 15 мая Брюсов уже в Вильне, в той же Георгиевской гостинице и, может быть, в том же номере. Текст открытки предельно короток: «Приехал благополучно в Вильно. Видел уже братьев Луцкевичей и молодого Ледницкого. Пробуду здесь дня три».

Но и через три дня он не уехал. 19 мая в Москву ушла открытка: «Стыдно, но все еще сижу в Вильно. Вчера весь день ездил с Луцкевичами в развалины замка Кейстута (в город Троки). Постараюсь выехать в Москву завтра, если добуду билет». Как видно, братья Луцкевичи снова взяли крепкое шефство над русским поэтом. Какие еще были встречи в том майском Вильне 1915 года? 17 мая «Вечерняя газета» опубликовала беседу с Брюсовым своего корреспондента Ал.Цака. Разговор шел о современной русской литературе. «Думаю, — сказал Брюсов, — что война оставит глубокий след на всей русской жизни и отразится также на литературе. Но предвидеть, как это произойдет, пока совершенно невозможно... Всегда кончались неудачей попытки изобразить художественно то, что теперь слишком близко от нас».

В конце мая Брюсов напишет стихотворение «Польша есть!» Это искренняя дань памяти «польским встречам»:

Ты есть — затем, что есть твои поэты,
Что жив твой дух, дух творческих начал,
Что ты хранишь свой вечный идеал,
Что ты во мгле упорно теплишь светы,
Что в музыке, сроднившей племена,
Ты — страстная, поющая струна!

◆◆◆

20 мая Брюсов выехал из Вильно в Москву. «Военная страница» его биографии была перевернута. Через два года он подведет «свой итог войне» в стихотворении «Тридцатый месяц»:

Достались в жертву суесловью
Мечты порабощенных стран:
Тот опьянил бездонной кровью,
Тот золотом безмерным пьян...

Борьба за право стала бойней;
Унижен, Идеал поник...
И все нелепей, все нестройней
Крик о победе, дикий крик!..

Пора отвергнуть призрак мнимый,
Понять, что подменили цель...

Тогда же, в семнадцатом году, в статье «Как прекратить войну?» Брюсов точнее скажет об этой подмене цели: «Мы уже не говорим о том, что были у России, у русского общества, светлые надежды, может быть обманчиво поданные царским правительством: оказать благодетельное влияние на судьбу других стран и протянуть руку помощи другим угнетенным народам... Были мечты и о многом другом, — мечты, может быть, обманчивые, намеренно разогреваемые в нас с иными, чуждыми нам целями...»



Роберт Яроцкий

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИОЛОГА



Петр Слонимский родился в Варшаве в 1922 году. Он — один из ведущих создателей современной молекулярной биологии. Во второй половине 40-х работал со знаменитым французским биологом русского происхождения Борисом Эфрусси. В 1962 г. стал профессором Сорбонны. В Национальном центре научных исследований (CNRS), что соответствует национальной Академии наук, с 1971 по 1993 год был директором Центра молекулярной генетики в Жиф-сюр-Иветт под Парижем. Преподавал, в частности, в США, Великобритании, Италии, Германии, Южной Америке, Японии и т.д. Занимался альпинизмом, продолжает нырять с аквалангом. В 2000 г. читал лекции по генетике студентам-математикам Варшавского университета. Член Французской, Американской, Польской Академий наук (ПАН) и старейшей Польской Академии свободных искусств в Кракове. Издавна сотрудничает с Институтом биологии и биохимии ПАН в Варшаве, с вроцлавскими биологами. Почетный доктор многих известных университетов, из польских — Вроцлавского и Варшавского.

В 2001 г. получил медаль Менделя — высшую чешскую награду, присуждаемую биологам Чешской Академией наук.

По-прежнему активно продолжает работу в нескольких областях. Ведет многих аспирантов, в том числе нескольких в Институте биохимии и биофизики ПАН в Варшаве. Один из научных экспертов программ геномики, финансируемых Евросоюзом. Вместе с профессором А.Гоффо один из главных организаторов проекта систематического деления генома дрожжей. Координирует международную программу Евросоюза «Еврофан», посвященную функциональному анализу генома дрожжевой клетки, и уже давно возглавляет Международную конференцию генетики и молекулярной биологии дрожжей. В научных кругах его зовут попросту патриархом по дрожжам.

После введения в ПНР военного положения был инициатором и организатором, а также президентом французской организации «Солидарность Франция—Польша», помогавшей польскому подполью.



Янина Куманецкая

ПО ТРАДИЦИИ ХУДОЖНИКОВ И УЧЕНЫХ

Петр Слонимский раздражается, когда журналисты, вместо того чтобы разговаривать с ним о научной работе, задают ему вопросы о биографии и семейных связях. Его деятельность на стыке двух областей, генетики и биоэнергетики, отводит ему особое место в науке. Он

постоянно считает себя одним из немногих, если не единственным, кто понимает, что́ говорят ему специалисты, представляющие эти две области, ключевые для современной биологии. А о своей жизни высказывается отстраненно. «Человек в моем возрасте, который пережил оккупацию Польши, должен иметь биографию для француза или американца небанальную, для поляка же совершенно банальную», — заявил он в интервью «Газете выборчей», которое взяли Анна Биконт и Славомир Загурский. Однако в другом интервью, в разговоре с Эвой Новаковской из «Политики», он отметил, что «среды, исторического времени и жизненного опыта, которые формируют ум и чувства человека, клонировать не удастся». Не удастся как-то механически повторить полученные знания или сопутствующие переживаниям ощущения. Так как же, говоря об известном ученом, неутомимом исследователе, одном из крупнейших мировых авторитетов в своей области знаний, не вспомнить о человеке? Обо всем, что могло составить творческую индивидуальность ученого, способного интуитивно задавать нужные вопросы, а затем кропотливым трудом искать возможные ответы на них и раскрывать тайны природы?

Среди предков Петра Слонимского было много выдающихся ученых и известных деятелей искусства. Первым вошел в историю Авраам Штерн, изобретатель счетной машины. Его

В первых числах сентября 1939 г., сразу после нападения Германии, ученик выпускного класса известной варшавской гимназии им. Стефана Батория, которому еще не исполнилось 17 лет, пошел добровольцем в Студенческий легион, в который вступали студенты, по возрасту не призванные в действующую армию. 17 сентября 1939 г. советские войска вторглись на польские восточные земли. Части, которым не удалось эвакуироваться в Румынию, попали в советский плен. Военнопленным Красной армии стал и юный Петр Слонимский. Доцент Петр Слонимский-старший тоже был мобилизован как офицер запаса и врач по образованию. В плен он попал вместе с несовершеннолетним сыном. Однако в октябре 1939 г. пани Янина Слонимская дождалась мужа и единственного сына, вернувшихся из советского плена.

Варшава, вторая половина 1943 года. 21-летний Петр Слонимский принял участие в нападении Армии Крайовой на немецкий жандармский участок в одном из варшавских пригородов. Они ликвидировали нескольких жандармов, захватив оружие и боеприпасы. В ходе этой молниеносной операции взгляд Слонимского упал на книгу, лежавшую в канцелярии участка. Он взял ее в руки и увидел, что это учебник теоретической биологии, как потом оказалось, хорошо отражавший современное состояние науки. Дома, при внимательном чтении, он особенно заинтересовался главой, посвященной генетике и написанной немецким ученым Мевиусом, где говорилось о результатах его экспериментов. Из этой книги, как Слонимский любит рассказывать, он впервые узнал о выдающемся французском генетике Эфрусси. (Через несколько лет, уже после войны, он встретился с ним в Париже.)

Вероятно, он столкнулся бы с генетикой и без этой книги, но несколько позже, потому что во время подпольных университетских занятий слушал лекции профессора, который был учеником выдающегося русского биолога Вавилова, в свое время одного из самых крупных генетиков с мировым именем, уничтоженного как «врага народа».

Петр Слонимский совмещал учебу на подпольном медицинском факультете с опасными диверсионными операциями против гитлеровцев, ведя интенсивную интеллектуальную и светскую жизнь в компании молодых людей, называвших себя «эссенциастами». В этот круг входили поэты, писатели, будущие театральные критики и литературоведы, юристы и журналисты. Среди них только Петр Слонимский был молодым человеком с ярко выраженным биологическим и математическим уклоном. Однако именно ему прежде всего приписывают авторство шуточного гимна «эссенциастов».

В условиях войны и оккупации никто из этих молодых людей, выходя утром из дому, не мог знать, что с ним случится даже на ближайшей улице. Один из членов той самой группы эссенциастов, в то время юный студент подпольного факультета польской филологии, поэт Тадеуш Боровский (несколько лет

спустя написавший поразительные освенцимские рассказы), случайно попав в уличную облаву в Варшаве, был отправлен в Освенцим. Они знали, что каждая секунда жизни на счету — так пей ее эссенцию! Поэтому они и назвали себя эссенциастами.

Подхорунжий Петр Слонимский (он окончил подпольное военное училище, при определенных условиях позволявшее получить офицерский чин) в конце июля 1944 г. жил в постоянной боевой готовности. Из-за паники и массового бегства немецкого гражданского населения из Варшавы во второй половине июля становилось ясно, что восстание приближается.

Петр Слонимский участвовал в Варшавском восстании как солдат Армии Крайовой, исполняя прежде всего обязанности врача-волонтера, хотя еще не имел на то формальных полномочий.

Его отец, мобилизованный в повстанческую медицинскую службу, руководил устроенным в подвалах одного из домов в варшавском районе Мокотув отделением разбомбленной близлежащей больницы сестер-елизаветанок. Мать Петра была санитаркой. Они погибли внезапно, вместе со всеми ранеными, под руинами разрушенного немецким самолетом здания со знаками Красного Креста на крыше. Это произошло на четвертой неделе восстания. Сам Петр спасся, потому что за полчаса до этого вышел на поиски перевязочного материала. Еще четыре недели восстания он прожил с сознанием утраты родителей и многих близких друзей. После поражения восстания он бежал из поезда, в котором немцы перевозили взятых в плен бойцов АК. Во второй половине ноября 1944 г. ему удалось добраться до еще оккупированного немцами Кракова и начать учебу на подпольном медицинском факультете Ягеллонского университета, как и раньше, в Варшаве, проходившую под прикрытием работы в клинике.

Советские войска вступили в район Кракова на рубеже января-февраля 1945 года. Петра Слонимского арестовали. Некоторое время он провел в следственной тюрьме. Затем его освободили, ибо арест имел превентивный характер, а сам Слонимский и в самом деле не принимал уже активного участия в антикоммунистическом подполье, полностью сосредоточившись на учебе.

В начале 1946 г. он написал диссертацию, в начале 1947-го защитил ее и весной того же года стал доктором медицинских наук (равно кандидату наук. — Пер.) Ягеллонского университета. Еще до защиты диссертации благодаря рекомендации своего научного руководителя, видного краковского биолога, профессора Станислава Сковрона он получил скромную стипендию на продолжение учебы во Франции.

Во Францию он приехал в апреле 1947 года. Там он познакомился с Борисом Эфрусси, французским генетиком, который в то время руководил Лабораторией физиологической генетики в Париже.

зять Хаим Зелиг изобрел телеграф. Затем настала очередь деятелей искусства — музыкантов, писателей. Михаил Слонимский был известным русским писателем, его брат Николай (Николас) — американским композитором, автором самой знаменитой музыкальной энциклопедии, их двоюродный брат Антоний — известным польским поэтом. Дед Петра Станислав и отец, тоже Петр, были известными врачами. Эта семейная ветвь издавна была полонизирована, в семьях Петра и Антония культивировались польские традиции борьбы за независимость. Оба были поначалу убежденными сторонниками Пилсудского, Петр служил в его легионах. Его сын, впоследствии профессор Сорбонны и видный генетик, продолжает гордиться тем, чего удалось достичь его матери. Внебрачная дочь польской служащей и расквартированного во Львове австрийца, она сдала экзамен на аттестат зрелости, и так хорошо, что получила государственную стипендию на учебу в Вене. Там она окончила факультет литературы и германской филологии. Затем, уже в Варшаве, преподавала в привилегированной частной гимназии, где ее ученицами были дочери маршала Пилсудского. Родители Петра погибли в 1944 г. во время Варшавского восстания под развалинами разбомбленного немцами повстанческого госпиталя. Петр подпольно сдал экзамен на аттестат зрелости и начал учиться медицине в под-

польном университете. В то время в Польше за учебу грозила смертная казнь. А Петр был при этом бойцом Армии Крайовой, членом специальной группы, занимавшейся добычей оружия и выполнявшей разнообразные рискованные задания. «Оккупация — сказал он в беседе с Анной Биконт и Славомиром Загурским, — это самый веселый период моей жизни: молодость, первые влюбленности, операция «Вавер», осуществленная харцерами (польские скауты. — Пер.) для харцеров. (...) Это мечта любого сорванца, а мы могли делать это, служа Польше».

С такой биографией в послевоенной Польше делать ему было нечего. В Ягеллонском университете он защитил диссертацию по медицине и получил стипендию на учебу во Франции. Возвращаться было незачем. И он бросился в самую крупную авантюру своей жизни — генетику. А точнее — митохондриальную генетику. Исследовательским материалом для него стали дрожжи. Поэтому его называют «патриархом по дрожжам». Когда ему было 34 года, его руководитель, выдающийся французский генетик Борис Эфрусси навсегда уехал в Америку. Петр Слонимский стал директором лаборатории CNRS, французского аналога польской Академии наук, самым молодым в истории французской науки. Область, которой он занимался, находилась в зачаточном состоянии. Слонимский говорит, что это был период полного счастья. Немно-



— Мы разговаривали по-английски, — рассказывает Слонимский. (Во время войны Эфрусси находился в США.) Он согласился принять меня в свою лабораторию при условии, что я быстро выучу французский, которым я тогда не владел, и дал мне на это полгода. Сказал, что знает фамилию Слонимский. Я подумал о литературной славе дяди Антония. Но оказалось, что Эфрусси с довоенных времен читал научные статьи моего отца, доцента Петра Слонимского, выходившие в западноевропейских журналах. Спросил, что с отцом. Я рассказал ему, как погибли родители во время Варшавского восстания. Эфрусси молча кивнул. Мне казалось, что, разговаривая, он все время в упор разглядывал мои альпинистские ботинки, тяжелые, массивные, которыми я очень гордился. Только немного придя в себя, я сообразил, что у него на ногах были легкие полуботинки: в Париже весна была уже в полном разгаре. Я вышел от него, твердо решив, что должен выучить французский как можно скорее. Сразу после этого разговора, зайдя в бистро выпить кофе, я увидел за соседним столиком симпатичную девушку, весело разговаривавшую с официантом. Я улыбнулся ей — она мне тоже. Ободренный, я заговорил с ней по-английски, вставляя какие-то французские словечки. Безрезультатно. Когда то же самое я повторил по-немецки, она поняла и разрешила подсесть. Я представился и в общих словах изложил ей свою проблему, спросив, не хочет ли она учить меня французскому. Она рассмеялась и, к моему удивлению, согласилась.

Через несколько недель, задолго до назначенного Эфрусси срока, я к нему явился. До этого мы, конечно, виделись, но разговор всегда шел по-английски. У меня была заранее заготовлена короткая, но содержательная речь по вопросам генетики. Я репетировал ее несметное количество раз, а моя красотка поправляла мой акцент как за завтраком, так и после ужина. Эфрусси с удивлением выслушал мою речь и расхохотался: «Отлично, но откуда у тебя лозаннский акцент?»

Спустя несколько лет, когда Слонимский стал самостоятельным ученым, научным сотрудником в лаборатории Эфрусси, и они вместе опубликовали по-французски и по-английски несколько важных работ, учитель был им горд. Французским биологам,

спрашивавшим его: «Откуда этот способный малый с непроизносимой славянской фамилией?» — он отвечал: «Слонимский — издалека, из Польши, с востока. Он пришел ко мне в ужасных сибирских грубых башмаках, и я сжалился и взял его на испытание!» Испытание оказалось столь успешным, что вскоре они сотрудничали уже на равных. Петр Слонимский защитил диссертацию (докторскую. — Пер.) по биологии в Сорбонне, а потом стал там профессором генетики. Со временем он возглавил лабораторию, а также стал директором созданного в рамках CNRS Центра молекулярной генетики в Жиф-сюр-Иветт.

Научное место Петра Слонимского в мировой генетике основано на его исследованиях генов дрожжей. Все началось с совместной работы с Борисом Эфрусси, который, когда поляк очутился в его лаборатории, уже работал над малоизвестным и совершенно непонятным в то время вопросом дыхания дрожжей.

Дрожжи способны жить в простейшей питательной среде и получают энергию посредством дыхания. Изучая это явление, Эфрусси заметил некоторые небольшие колонии, которые не желали расти, — он называл их малыми. Но он не знал, в чем дело. И только Петр Слонимский, биохимик, разобрался в этих малых колониях дрожжей. Вместе они открыли, что возникают наследственные изменения, называемые у генетиков мутациями, которые мешают дышать дрожжевым клеткам этих малых колоний. И хотя дыхание у них заблокировано, на минимальном уровне они дышат. Значит, они могут жить медленней, слабее, потому что тратят меньше энергии, но все-таки живут.

Слонимский искал ответ на вопрос: почему они выживают? И терпеливо занимался этими странными мутантами, посвящая исследованиям сотни часов. С этого все и началось. Начав исследования вместе с Эфрусси, В дальнейшем он продолжил работу один. Он обнаружил, что с механизмом наследственности у этих мутантов все происходит иначе, чем у других организмов. А в то время, когда он проводил свои упорные исследования, об этом знали мало. Со времен открытий Менделя и Моргана было известно, что наследственность зависит от хромосом, в которых находятся гены, а хромосомы — в ядре клетки. Затем было доказано, что гены — это фрагменты ДНК. Слонимский обнаружил, что существуют также гены, которые находятся не в самом ядре, а вне его, в небольших пузырьках, производящих энергию для всей клетки. Это так называемые митохондрии, микроскопические структуры, существующие в каждом организме. В них находятся гены, тоже построенные из ДНК, хоть и не все, а те, которые помогают организму дышать. Нужно подчеркнуть, что если в других организмах вследствие каких-то изменений митохондрии не удается заметить (так как эти организмы из-за блокировки дыхания отмирают), то на дрожжах их можно было обнаружить и изучать. В период, когда появилась генная инженерия, т.е., грубо говоря, 30 с лишним лет назад, эти гены научились изолировать.

гие энтузиасты занимались генетикой, не было учебников, теоретических указаний. Все нужно было изобретать, и все было возможно. Поле деятельности для людей инициативных и с воображением. Обе эти черты Петр Слонимский унаследовал от своих предков — ученых и художников. Он не жалеет, что стал ученым. «Ученый, — сказал он в уже упомянутом здесь интервью «Газете выборчей», — получает в жизни большее удовольствие, чем художник, ибо вырывает у Господа Бога частицу истины, а художник лишь перерабатывает то, что дал ему Господь Бог».

Эта постоянная борьба с Богом за тайну бытия составляет суть и смысл жизни выдающегося ученого. На вопрос об опасностях, связанных с развитием генной инженерии, столь занимающей теперь публицистов, он предпочитает противопоставлять этим опасностям свою, более оптимистическую картину мира, где всевозможные «измы», которые принесли несчастья XX века: фашизм, коммунизм, национализм, маоизм, — сменятся одним — туризмом.

Делать это было легче, чем на генах ядра, так как их меньше, это частичка сама по себе меньше. Эту крошку разделяли на кусочки и размножали в других бактериях. Затем изучали расположение этих генов, и тогда было установлено, что части, несущие генетическую информацию, передают одно и то же сообщение. Слонимский доказал, что в этих «вставках» содержится также некая информация о каких-то белках. Из этого следовало, что в этих «вставках» без ядра могут возникать новые виды белков. Международное сообщество биохимиков и генетиков признало это открытие, проверенное в других ведущих лабораториях мира, прежде всего американских, крупным вкладом Слонимского в мировую науку. Его стали называть патриархом генетики дрожжей и митохондриальных генов. Здесь нужно подчеркнуть нечто бесспорное для биологов-генетиков: ввиду того, что геном дрожжей сравним с геномом человека, открытие митохондриальных генов, процесса наследственности, дыхания и т.д. имеет далеко идущие последствия для изучения генов человека. Речь идет о возникновении некоторых болезней и их профилактике.



Так возникла школа Петра Слонимского, занимающаяся так называемой неменделевской, внеядерной, иначе говоря — митохондриальной наследственностью. Оказалось, что митохондрии обладают собственными, шарообразными частицами ДНК, в которых находятся собственные гены. Мало того, у них имеется свой механизм синтеза белка, и таких митохондрий в клетке несколько тысяч. Со временем можно было составить целую карту генов. Теперь этим занимаются сотни прекрасно оснащенных лабораторий. Естественно, митохондриальная генетика, как и молекулярная биология в целом, со времен открытий Слонимского сильно развилась, исследования в этой области успешно проводят его ученики не только во Франции и в Польше, но и в США, Канаде, Японии, Германии и Италии. Впрочем, в лаборатории Слонимского в Жиф-сюр-Иветт всегда были сотрудники и ученики со всего мира, в том числе и русские. Петр Слонимский удостоен всевозможных почестей: он член Французской академии и научных обществ всего мира. Его кандидатуру выдвигали на Нобелевскую премию. Он награжден золотой медалью CNRS — высшей французской наградой в области науки. В ходе церемонии вручения медали с участием представителей властей Французской Республики он, в частности, сказал:

— Мне бы хотелось поделиться с вами двумя соображениями, далеко не оригинальными, но сопровождавшими меня на протяжении всей моей деятельности. Первое касается связи между фундаментальными исследованиями и преподаванием. Второе связано с мотивами исследований или поисков.

Учишь тому, что знаешь. Но чтобы знать то, чего не знаешь, нужно знать, что́ ты знаешь. Нельзя хорошо учить тому, что ты знаешь, если при этом не стремишься познать то, чего еще не знаешь.

Дядя Петра Антоний Слонимский, входивший до войны в известную группу поэтов, связанных с журналом «Скамандр», самый читаемый фельетонист еженедельника «Вядомосци литерацке», как-то сказал, что человек должен хоть раз добиться успеха, чтобы считать свою жизнь удавшейся. Теперь его племянник Петр добился большого успеха, подкрепленного дальнейшими достижениями.

История рода Слонимских — особый разговор. Петра Слонимского связывают с Россией родственные отношения. Они восходят к выдающемуся родоначальнику Слонимских, личности легендарной, математику Хаиму Зелигу, его зятю Аврааму Штерну, астроному, первому польскому еврею, введенному Станиславом Сташицем в Общество друзей наук в Варшаве. Это прадед Петра.



Хотя бы вкратце нужно сказать, что двоюродный дед нашего героя, брат доктора Станислава Слонимского Людвик (Леонид) Слонимский уехал из Варшавы, поселился в Петербурге и был известным журналистом, основателем и редактором журнала «Вестник Европы». Его сын Михаил был известным русским писателем, другой сын, Александр, — литературоведом, знатоком творчества Гоголя. Наконец, сын Михаила, ровесник Петра, Сергей Слонимский — знаменитый композитор. Петр Слонимский с огромной теплотой вспоминает трогательную встречу с троюродным братом Сергеем в Ленинграде в 1974 г., правда, сожалея, что произошла она в условиях, характерных для брежневских времен.

Дед Петра доктор Станислав Слонимский поддерживал довольно прохладные отношения со своим братом Людвиком и его семьей, так как сам был сторонником Польской социалистической партии, борющейся за независимость, и военных действий против царской России, проводимых Юзефом Пилсудским. В том же духе были воспитаны отец Петра и его дядя, поэт Антоний.

* * *

Петр Слонимский, уже вкусивший славы, связанной с открытием митохондрии генов дрожжей, без конца получал приглашения из ведущих американских университетов. Его просили прочесть хотя бы одну лекцию. Консульский отдел посольства США не давал ему въездной визы. Через несколько лет выяснилось, что повторяющиеся отказы были следствием доносов в ЦРУ о левых взглядах Слонимского и его жены Ханны. Наконец разъяренные американские биологи обратились в Госдепартамент и добились разрешения. Слонимский получил визу за 24 часа до лекции. Прилетел, но в аэропорту узнал от чиновников иммиграционной службы, что его виза им не очень-то нравится и они хотят по этому поводу связаться с Вашингтоном; увы, как раз начался уик-энд, и до понедельника ничего не сделать. В этой ситуации его выручил самый доброжелательный чиновник, поляк по происхождению. Он сам позвонил какому-то коллеге в чине сержанта в Вашингтон и получил от него совет, каким образом все уладить.

— Встаньте, пожалуйста, у государственного флага Соединенных Штатов и поднимите правую руку вверх. Затем, в присутствии моем и еще одного свидетеля, четко произнесите торжественную присягу, что вы обещаете воздержаться от посягательств на конституционный порядок Соединенных Штатов Северной Америки!

Слонимский:

— Присягаю, потому что спешу!

В последние годы его исследования связаны с областью, в которой он сам скромно именует себя дебютантом. В сотрудничестве с математиками и кибернетиками он занимается моделями эволюции. И начинает все сначала, невзирая на свой авторитет в молекулярной генетике. Он говорит с улыбкой, что работа над проблемой эволюции — это своего рода речь после банкета жизни.

Что бы ему хотелось узнать? Наверняка он хочет понять механизм эволюции и все производные проблемы. Не хочет ли он разгадать то, что до сих пор неясно и непонятно?

Конечно, он следит за всеми важнейшими событиями, связанными с генной инженерией, пресловутыми сенсациями, касающимися клонирования. Его раздражают «откровения» на эти темы в средствах массовой информации, которые вообще не способны отличить ложь от правды. Публицистке Эве Новаковской из «Политики» по поводу этих вопросов он ответил: «Мозг клонировать не удастся».



ВЫШЕ ГОЛОВУ

Беседа с Иоанной Ольчак-Роникер



Иоанна Ольчак-Роникер *— краковская писательница, автор монографии о кабаре «Погребок под Баранами» и воспоминаний о его основателе Петре Скшинецком, сценаристка сериала Анджея Вайды «С теченьем лет, с теченьем дней...». Недавно издала книгу «В саду памяти», повествующую об истории ее семьи.*

— Вы издали книгу воспоминаний о своей семье, ставшую заметным литературным событием. Один из членов вашей семьи перед смертью сказал: «Я не был купцом». И это была правда — ваш дед Юзеф Морткович, а речь о нем, был не купцом, а издателем — издателем выдающихся довоенных польских поэтов и прозаиков: Лесьмяна, Стаффа, Домбровской, Жеромского и многих других. Вы назвали эти воспоминания «В саду памяти». Однако реконструируя историю своих предков — Горвицев и Мортковичей, — вы не скрываете, что много лет вам не хотелось помнить, погружаться в память, которая порой была мучительна.

— От памяти, конечно, можно убежать, если кто уж очень упрется, но пойдет ли это ему на пользу? От памяти можно защищаться, но рано или поздно — лишь бы не слишком поздно — память настигнет каждого, и очень хорошо: это единственная возможность найти себя и обрести цельность. Я очень довольна, что преодолела внутреннее сопротивление и сумела вернуться к делам минувшим.

Я из еврейской семьи, детство мое пришлось на годы войны. Сначала мать и бабка скрывались вместе со мной под Варшавой, потом нашли для меня убежище в женском монастыре, у сестер Непорочного зачатия Девы Марии, в Варшаве, на Казимежовской улице. Пока я там жила, я почти не общалась с близкими. Когда война кончилась, мы втроем поселились в Кракове. Для моей матери, писательницы Ханны Морткович-Ольчак, и бабки Янины Морткович, переводчицы детской литературы, вдовы деда Якуба, довоенное прошлое было по-прежнему живо. Я чувствовала себя изгнанницей, не принадлежащей к их миру. А может, просто завидовала их красочной, богатой впечатлениями жизни, которой сама не вкусила. От злости, из упрямства я стремилась уйти от семейной традиции, искала свой, другой путь, думала, что освобожусь от этого психологического



груза. Теперь я знаю: это не удалось. Боже сохрани, я не жалею о том, что сама выбрала. Жила я интенсивно и не скучно, но у меня все время было чувство, что я человек ниоткуда. Сегодня я — словно сказочная героиня, которая после долгой дороги через темный лес в конце концов вернулась домой.

— Недавно в краковском Центре еврейской культуры вы встретились с главным раввином Вены, и спросили, не поможет ли он вам отыскать материалы о вашем прапрадеде, венском раввине и выдающемся толкователе Талмуда. Оказалось, что в кабинете этого случайно встреченного вами человека висит портрет Лазаря Горвица, с которого начинается история вашей семьи.

— Рассказы о венском прадеде передавались в семье из поколения в поколение. До войны в нашем варшавском доме висел на стене масляный портрет Лазаря, в библиотеке стояли его комментарии к Талмуду, домашние гордились тем, что его фамилия фигурирует в «Encyclopedia Iudaica». Часто говорили о Густаве, набожном сыне Лазаря, который, окончив философский факультет в Вене, женился на Юлии Клейнеман, дочери состоятельного варшавского купца.

Воспоминания о предках были живы, но в детстве и юности память меня не особенно волновала, о чем сегодня я глубоко сожалею. Война рассекла пополам и мою жизнь, и биографию целого поколения. Оккупация сделала довоенную действительность как бы нереальной, ребенку все казалось сном, я была равнодушна к этому прошлогоднему снегу и так перешла во взрослое состояние. Если бы не действительность ПНР, быть может, я вернулась бы к семейной традиции. Если бы удалось восстановить издательство Мортковича, может, я продолжила бы дело дедушки. После войны бабка и мать героически пытались воскресить фирму. Еще живы были довоенные авторы издательства: Мария Домбровская, Юлиан Тувим, Леопольд Стафф. Издать книгу своих стихов «Возраст катастроф» в серии «Под знаком поэтов» попросил даже Антоний Слонимский, повздоривший перед войной с Мортковичем, — после всего, что случилось потом, бабка и поэт решили забыть давние ссоры. Увы, издательская деятельность продолжалась лишь несколько лет. Все частные издательства в конечном счете были национализированы, а перед этим им не давали покоя постоянными гонениями. Я отлично помню многодневные финансовые проверки, неожиданные дополнительные налоги, вечные неприятности с цензурой. Время от времени у нас в доме появлялся один из двух главных боссов государственного издательского дела — то Адам Бромберг, то Ежи Борейша. За их визиты, всегда предвещавшие какую-нибудь очередную катастрофу, бабушка расплачивалась скачка́ми давления; в глазах ребенка эти господа представали монстрами, терзающими двух несчастных женщин. Когда издательство было наконец ликвидировано, обе они посвятили себя литературному труду: бабушка — переводам иностранной литературы, мама — собственной прозе. Они не сломались, не сетовали; в доме, привыкшем к катастрофам, приговоры судьбы принимали с достоинством.

С тех пор как мать умерла, я жила в сознании того, что должна описать историю своей семьи. У моих прабабки и прадеда Густава и Юлии Горвиц было девять детей — одной из их шести дочерей была моя бабушка. Биографии всех потомков Юлии и Густава невероятно колоритны и поучительны. В их случае история не поскупилась на удары, разочарования, страдания, но все они прожили жизнь с высоко поднятой головой. Моя мать умерла в 1968 г., однако лишь тридцать лет спустя я встретила упомянутого вами венского раввина, над столом которого висит портрет моего прадеда. Только тогда я поверила в его существование — прежде он был только туманным видением. Поэтому я начала свое повествование с реконструкции его жизни. Потом благодаря помощи родни, рассеянной по всему миру, мне удалось воссоздать судьбы тех, кто умер, и тех, кто жив. О существовании некоторых родственников я узнала лишь в процессе написания книги. А в конце работы посчитала своих героев — оказалось 123 человека! И это еще не все. Кое-кто появляется только теперь.

Должно быть, больше всего места в книге я посвятила бабушке и маме. Это понятно — их я знала лучше всех. После трагической смерти Якуба Мортковича в 1931 г. они вдвоем решили спасти обанкротившееся издательство. У них все получилось замечательно, они расплатились с долгами, фирма процветала бы и дальше, если б не война. Во время оккупации они скрывались —

благодаря помощи друзей, особенно Анны и Моники Жеромских, им удалось избежать гетто. Они скитались по разным деревушкам под Варшавой, а последние четырнадцать месяцев оккупации провели в крошечной комнатке дома преподавателей Варшавского политехнического института на Кошиковой улице — не выходя на улицу, не подходя к окну, разговаривая только шепотом. И все же они не сошли с ума и не возненавидели друг друга. Несмотря ни на что они пытались жить активно: бабушка перевела последний том повестей о докторе Дулитле, мама написала роман «Светотени».

— Ваша бабушка была большой любительницей поэзии, часто совершенно разной стилистически. Барышней она ощущала «странную дрожь», читая поэтов «Молодой Польши», на закате дней восхищалась поэзией молодого Тадеуша Ружевича.

— Сразу после войны Ружевич был нашим соседом в знаменитом краковском доме литераторов на Крупничей 22. Он жил в комнатушке большой коммуналки на втором этаже, где кроме нас обитала еще вдова философа Станислава Бжозовского, пани Антонина, со своей дочерью Анной. Ружевич дружил с моей бабушкой и мамой. Уехав из Кракова, сначала в Гливице, а потом во Вроцлав, он часто писал им. В моем семейном архиве немало его писем. Пана Тадеуша связывала большая дружба с Леопольдом Стаффом, который в первые послевоенные годы тоже жил в Кракове. Бабушка, Стафф и Ружевич составляли удивительный треугольник. Двое стариков окружали молодого поэта великой нежностью и любовью. Бабушка действительно была очень восприимчива к поэзии. Помню, как она была потрясена послевоенным «Спасением» Милоша Впрочем, она еще до войны обратила внимание на этого автора. Его книгу «Три зимы» в Варшаве продавали только в книжном магазине Мортковича на Мазовецкой — другие книготорговцы не хотели принимать на склад дебютантский томик поэта из Вильно. Это тем более удивительно, что и у деда, и у бабушки были довольно традиционные литературные вкусы. К примеру, бабушка не захотела издавать «Коричные лавки» Бруно Шульца, может, потому, что писатель настаивал, чтобы его проза была напечатана с рисунками (слишком фривольными, по мнению бабушки).

— Шульц издал «Коричные лавки» в «Рое», где печатался и Витольд Гомбрович.

— Признаюсь со стыдом, что Гомбровича у нас в доме не очень-то ценили. Когда я раздобыла в какой-то библиотеке «Фердидурку» и восхищенно ее читала, бабушка явно морщилась. Она считала, что Домбровская и Жеромский — чтение более ценное. Тем более меня поразило, как она восхищалась Ружевичем. А он был верен дружбе и, когда бывал в Кракове, всегда навещал бабушку.

— Вы сценаристка сериала Анджея Вайды «С теченьем лет, с теченьем дней...», повествования о временах молодости ваших дедушки и бабушки. Еще до замужества Янина познакомилась со Станиславом Пшибышевским...

— И гордилась, что хоть на миг вошла в круг богемы. До конца жизни она с симпатией вспоминала трагическую фигуру Дагни Пшибышевской. Однако в ней самой не было ничего от безумной Юльки, героини пьесы Киселевского. Ее отличала большая житейская рассудительность. Видимо, поэтому ее брак с Якубом Мортковичем, немного романтическим безумцем, и был столь удачен, что они дополняли друг друга. Впрочем, их объединяла не только большая любовь, но и общность жизненной позиции — характерное для эпохи убеждение в том, что жизнь есть служение, в их случае — служение польской культуре и литературе. Несмотря на серьезное отношение к действительности, бабушка все же сохранила в себе известную слабость к богеме; наверное, потому она и приняла так легко моих друзей из кабаре «Погребок под Баранами», и так полюбила его создателя Петра Скшинецкого.

— В «Погребке под Баранами» встречались люди, у которых был самый разный, иногда тяжелейший военный опыт. А впереди была «мертвая перспектива», как писал один из «погребчан», поэт Анджей Бурса. Несмотря на это «Погребок» был самым веселым местом во всей Польше.



— Он давал нам чувство свободы и безопасности. Мы прятались там, как дети, пораженные абсурдным, опасным миром взрослых. Единственной защитой от реальности был смех. То, что можно высмеять, перестает быть столь угрожающим. Огромная заслуга Петра в том, что он объединил вокруг себя людей со сходным чувством юмора и сходным отношением к окружающему абсурду. Когда я думаю о «Погребке», я всегда вспоминаю стихотворение Важика «Фундамент»: «Я строил на песке — / Все рухнуло. / Я строил на граните — / Все рухнуло. / Теперь я буду строить / На дыме из трубы». Петр построил нам в «Погребке» прочный, уютный дом из элементов хрупких, летучих, неуловимых — как дым. И этот дом хранил нас много лет. Мы считали Петра самым беззаботным и веселым человеком на свете. Только недавно, когда я начала писать о нем книгу, мне стало понятно, как он всю жизнь маскировался, как старательно скрывал свои опасения и печали. Его философия сводилась к тому, что ни к чему нельзя относиться всерьез, ни к кому и ни к чему не следует привязываться, ни на что не нужно рассчитывать, ничего не стоит слишком сильно желать, — это несомненно был результат сиротского детства и военных страхов. Его отец, командир уланского полка, погиб во время сентябрьской кампании 1939 г., мать-еврейка пряталась по усадьбам знакомых, каждые несколько месяцев меняя местопребывание. Все годы оккупации Петр провел у тетки в Макове. Читая отчаянные письма к матери, которые он писал в восемь-девять лет, я осознала, как сильно он тосковал, боялся, каким одиноким себя чувствовал. Отчаяние, страх, тоска ребенка по чему-то самому печальному на свете. Такой опыт надолго блокирует человеку эмоции, иногда он до конца жизни не может найти контакт с близкими. Петр никогда не вспоминал вслух о военных передрягах. Я тоже. Никто из нашего поколения не говорил о войне. Мы навзрыд хохотали, радовались. Интересно, если б он сейчас был жив, захотел бы он поговорить о том времени? Сомневаюсь. Вопреки тому, что могло казаться, он был человеком очень замкнутым. Наверное, он бы высмеял это мое сентиментальное семейное приключение.

Я тоже долгие годы была лишена семейных чувств. Конечно, я знала, что у меня есть родственники в Париже, Москве, Нью-Йорке, иногда мы встречались, но из этого мало что следовало. Лишь благодаря тому, что я начала писать книгу, установились столь душевные связи. Несколько месяцев назад наши родственники из Польши, Америки, России встретились на семейном съезде в Тоскане. Некоторые увиделись впервые в жизни. Но мы сразу нашли общий язык и с изумлением обнаружили, насколько мы похожи, несмотря на то что формировались в разных культурах: польской, американской, русской. Нас объединяет дистанция по отношению к миру, унаследованное от венского предка чувство самоиронии и девиз варшавской бабушки Юлии Клейнеман «Выше голову!» — весьма полезный в наших трагических житейских перипетиях.

— Именно тогда, на семейной встрече в Тоскане, ваш недавно обретенный родственник Петр Валецкий из Москвы сказал: «Человек, лишенный памяти, не знает, зачем он живет, что́ он должен передать своим детям». Вы посвятили свою книгу дочери Катажине и внучке Марии. Что они думают о книге, рассказывающей об их семье?

— Думаю, что они приняли ее очень близко к сердцу. Они знали многие из вошедших в книгу рассказов, но, собранные все вместе, эти истории складываются в единое целое, которое немало говорит о семейных генах, о личностях, характерах. Благодаря этому можно многое узнать и о себе. Больше всего я благодарна своей дочери Касе за ее просьбу: пиши так, чтобы Мария и ее ровесники могли что-то понять во всех этих исторических, социальных, идеологических и интеллектуальных перипетиях, в которых последние сто лет участвовали наши близкие. Для тех, кому семнадцать, все эти сложные вопросы: борьба за независимость во времена разделов, ассимиляция польских евреев, социализм, коммунизм, советский и гитлеровский тоталитаризм — это только скучные страницы учебника истории. Пусть увидят за учеными формулировками живых людей с их мечтами, упованиями, разочарованиями, страданиями и, несмотря ни на что, надеждой. Я старалась писать ясно и, может быть, поэтому сама лучше понимала, о чем пишу. Я осознала, что мне очень повезло: я принадлежу к необычной человеческой общности, все члены которой связаны между собой утверждающим, активным отношением к жизни. «Худший грех в жизни — пассивность», — муш-

тровала своих детей моя прабабушка Юлия. А потом они в свою очередь искореняли эгоизм и требовали деятельного подхода к реальности от своих детей. Этот деятельный подход принимал разные формы, но на дне его всегда крылся идеализм и жажда общественного служения.

— Любовь к Польше приносила ассимилированным евреям много боли. Им постоянно напоминали, что они здесь чужие.

— Может быть, именно поэтому брат моей бабушки — Максимилиан Горвиц-Валецкий, отец того Петра Валецкого, о котором вы упомянули, служил сначала делу социализма, а потом делу коммунизма. Он верил, что победа мировой революции сгладит все классовые, расовые и социальные различия. За эту веру он заплатил высшую цену: в 1937 г. он был арестован и после зверских допросов убит. «Много историй о любви без взаимности», — сказал кто-то, прочтя эту книгу. Можно воспринимать ее и так. Мой дед отдал всю жизнь служению польской культуре — и что же? В конце концов в приступе депрессии из-за финансовых трудностей он покончил с собой. Слова из его прощального письма к близким: «Я жил не как купец, и умираю не как купец», — свидетельствуют о том, сколько страданий причиняли ему злобные антисемитские инсинуации: он, мол, только притворяется любителем польской книги, а на деле он всего лишь еврейский торгаш. Мой кузен Рышард Быховский мог спокойно просидеть всю войну в Калифорнии, но пошел добровольцем в авиацию. Борьбу за свободную Польшу он считал своей патриотической обязанностью, хотя вынести радость однополчан по поводу ликвидации варшавского гетто ему было трудновато. Он погиб, возвращаясь на своем бомбардировщике с боевой операции в апреле 1944 года. Это и впрямь очень печальные истории, но от предков я унаследовала нежелание плакаться над судьбой. Сестра Макса Горвиц-Валецкого, доктор Камилла Горвиц и ее сын Ян Канцевич, которые в 30-е годы эмигрировали в Советский Союз, чудом пережили тюрьмы и лагеря. Когда я записывала для книги рассказы Яна, он просил, чтобы я не распространялась о трагических деталях, а записала, что они с матерью выжили благодаря сердечности и доброжелательности русских людей, которых встретили на своем пути. Моя мать тоже всегда предпочитала рассказывать о людях, которые во время оккупации спасали нам жизнь, а не о подонках и доносчиках, хотя их тоже хватало.

Когда в Варшаве представляли мою книгу, я с некоторым смущением сказала, что для моих предков, для многих минувших поколений любовь к родине, обязанности по отношению к обществу были содержанием жизни. В первом ряду сидели очень молодые люди, и я все время думала: не скучно ли им слушать рассуждения о судьбах и долге польской интеллигенции? Не смешит ли их понятие «патриотизм»? «Служение народу»? Не слишком ли много я об этом говорю? Не слишком ли много пафоса? В конце встречи встала юная девушка и очень тихо сказала, что, как ей кажется, обо всем этом говорят в Польше слишком мало. Она очень меня тронула. Но я не знала, что ей ответить. И никто не ответил на ее реплику. Нынче высокие слова выговариваются с трудом.

беседу вел Ян Стшалка

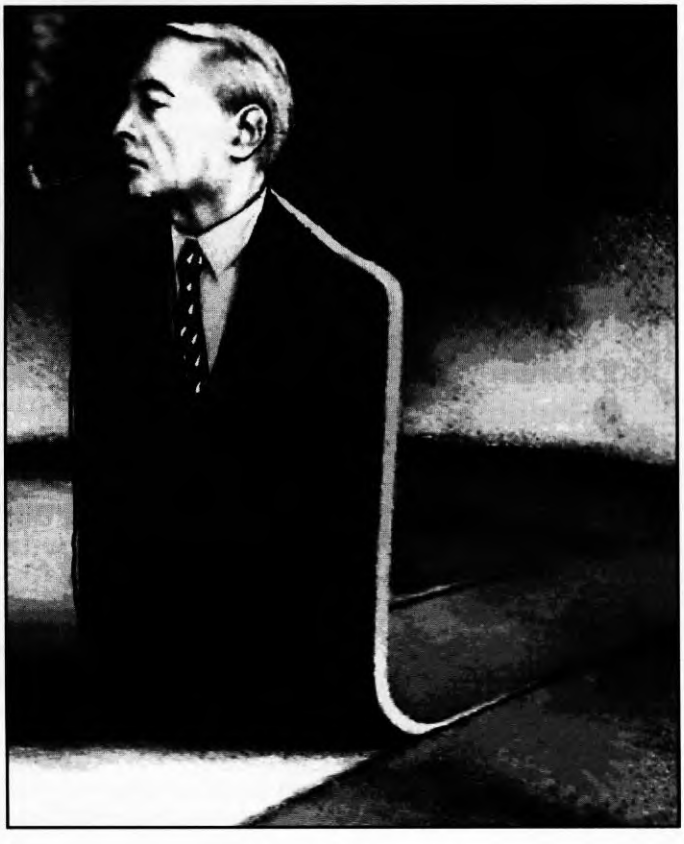


Ян Стшалка *— журналист еженедельника «Тыгодник повшехный», автор статей и интервью, публикуемых в польской, российской, немецкой и итальянской прессе.*



Андрей Ермонский

ВЫ ГОМБРОВИЧА НЕ ЧИТАЛИ?



Наверное, Витольд Гомбрович, — самый удивительный, самый обаятельный и самый парадоксальный польский писатель минувшего столетия.

Правда, он не из тех «уютных» литераторов, которых можно любить или не любить. Он — из тех, кого надо либо безоговорочно принимать, либо отвергать с порога. Потому что Гомбрович не цацкается с читателем, не подделывается под него. Он не просто стремится рассказать ему всю правду о нём же самом, но настойчиво, даже бесцеремонно навязывает ему эту свою правду — а она по большей части представляется писателю довольно неприглядной.

Гомбрович умер тридцать лет назад, но его книги ещё отнюдь не стали всего лишь достоянием истории лите-ратуры. Они продолжают вызывать споры критиков и будоражить умы читателей. «Без Гомбровича, — признавался выдающийся польский драматург Славомир Мрожек, — я обеднею. Но рядом с ним мне трудно быть самим собой». И добавлял, что автор «Фердидурки» оказывает на него сильное, но мучительное воздействие, которое, однако, «побуждает к творчеству».

После смерти Гомбровича о нём куда больше говорят и пишут, чем читают его. И гора толкований, истолкований, осмыслений и переосмыслений созданного им продолжает расти. Хотя писать о Гомбровиче, по-моему, дело не просто неблагодарное, но и совершенно безнадёжное. Уже по одному тому, что он не укладывается в прокрустово ложе так называемой науки о литературе, всех этих правил, канонов и запретов, придуманных, как саркастически выразился сам писатель, многочисленными тётушками от мировой культуры с их «всё усредняющей и отнимающей у жизни всякую жизнь» ментальностью.

Я не собираюсь прибавлять к этой горе гомбровичеведения ни камешка. Скажу лишь о радости, которую принёс мне мой роман с Гомбровичем.

Хорошо помню, как холодным августом 1989 года, в шерстяном свитере, набросив ещё и пальто (!), сидел я на балконе подмосковного пансионата, нещадно смолил и мучительно наслаждался словесной вязью Гомбровича. Моё восхищение им, более того, — моё понимание его прозы — и началось-то за

Рис. Дмитрий Шевцов-Кисслов

много лет до этого именно с ошеломлённости гомбровичевским языком : «неверным», нарушающим, казалось бы, все нормы и правила, но удивительно свободным, точным и никогда не отступающим от законов и духа польской речи! Ибо стоит только вслушаться, вчувствоваться в прозу Гомбровича, в этот бурно скачущий фантас-магорический поток слов и фраз, выстраивающихся в некую чудовищно чёткую, безжалостную картину душевного и духовного мира «героев» автора «Фердидурки», как начинаешь понимать, что Гомбрович и не прозаик вовсе, а поэт, обладающий к тому же даром пророчества. Оттого-то его проза так красива и лирична даже тогда, когда она повествует о безобразном, оттого-то она так бередит душу, оттого-то его прозу, как и подлинную поэзию, невозможно пересказать «своими словами».

Мне выпало на долю едва ли ни «открыть» Гомбровича русскому читателю: на самом излёте горбачёвской перестройки, спустя без малого шесть десятилетий после выхода в свет «Фердидурки», самая знаменитая его книга наконец была напечатана у нас — перевод появился в первом номере журнала «Иностранная литература» за 1991 год, в последний год существования Советского Союза. Тогда же в издательстве «Художественная литература» готовился и трёхтомник Витольда Гомбровича.

Но, увы, развал коммунистической империи вместе со свободой слова принёс поначалу и почти полное свёртывание культурных связей в пределах того, что прежде именовалось «социалистическим лагерем». Наверное, такое было неизбежно не только потому, что коммерческие соображения стали на первых порах играть роль куда более жёсткой «цензуры», чем некогда агитпропы ЦК. Дело ещё и в том, что культурные связи между «братскими странами» были исковерканы бесстыдным и циничным политиканством, сотнями нелепейших табу, порождавшихся страхом перед правдивым, свежим словом, неординарной мыслью, просто напоминанием о совести, нравственности, свободе в отношениях между людьми и государствами, наконец, нередко и зауряднейшим корыстолюбием чиновников от культуры...

Людям не старше тридцати сегодня трудно поверить, что польская литература, кино, музыка, живопись, периодика, радио многим в СССР представлялись тогда своего рода «светом в окошке», форточкой, через которую в затхлую атмосферу прорывалось порой дуновение свежего ветерка. От «поляков» мы нередко узнавали о новинках западного кино, музыки, живописи больше, чем из радиоголосов. Переводы польской прозы и поэзии расходились, как правило, молниеносно. Кивая на «братскую Варшаву», мы пытались убедить себя, что «даже при социализме», если малость облагородить его лицо, можно жить.

Немудрено, что польские книги (а их благодаря энтузиазму моих коллег-критиков, переводчиков, редакторов, таких, например, как незабвенная Майя Ивановна Конева, более тридцати лет отдавшая их «проталкиванию» в печать, — было издано много: причём в основном, действительно, хороших) находились под неизменным подозрением властей. Существовали «чёрные списки» деятелей польской культуры, имена которых «нельзя» было даже упоминать в печати. Битвы за то, чтобы того или иного литератора вытащить из такого списка, велись нешуточные — и не всегда безуспешно. Но вот за Витольда Гомбровича и воевать-то до перестроечных времён было бесполезно.

Почему? Ответить на этот вопрос не так легко, как может показаться.

Да, разумеется, Гомбрович в канун второй мировой войны отправился за границу и не вернулся из эмиграции в Народную Польшу, которую он решительно не принял; да, он был откровенным и язвительным противником коммунизма; да, он весьма нелицеприятно отзывался о Советском Союзе — всего этого было более чем достаточно для того, чтобы наложить на его имя и книги «вечное табу» (в Польше его начали обходить ещё в 1957 году, у нас — в 80-е).

Всё это так. Но Гомбровича вообще нельзя назвать литературным баловнем: ему всю жизнь доставалось от современников — и левых, и правых, и центристов! Первые его литературные опыты критика дружно встретила в штыки: слишком уж он шокировал «общественный вкус», слишком раздражал, слишком издевался над правилами и традициями хорошего тона. А когда в 1937 году в

Польше вышла его «Фердидурка», большинство критиков и читателей книгу отвергли. И этот, наверное, один из самых блистательных, трагически-тревожных романов XX столетия начал своё триумфальное шествие по миру только в 1947 г., после того, как был издан в Аргентине по-испански.

На пороге нашего века польский прозаик, а затем и критик Кароль Ижиковский написал роман «Pałuba» (на русский слово это перевести непросто — то ли крытый экипаж, то ли нечто бесформенное, безобразная женщина: бабища, уродина, колода), в котором вскользь высказал довольно странное для своего времени суждение — человеку вечно что-то мешает попасть в такт жизни другого человека, а потому, мол, не следует принимать в расчёт мнения о себе других людей, но надо жить, принимая в расчёт, что такое мнение о тебе существует. Мне кажется, что схожая мысль стала главной идеей, а может, и отправной точкой и жизни, и творчества Витольда Гомбровича.

«Фердидурку», например, легче понять, если прочитать её как книгу, рассказывающую о страдании человека, порождаемом рамками, в которые загоняет нас другой человек, о страдании, проистекающем «из того, что мы задыхаемся и захлёбываемся в тесном, узком, жёстком воображении о нас другого человека». Гомбрович словно ставит опыт: способен ли его герой освободиться от насилия и гнёта чужих мнений о нём или он обречён покориться, позволить другим напялить на себя маску по их собственным вкусам. Такую маску автор «Фердидурки» называет «рожей», которая может намертво прирасти к лицу, заменить его собою. Герой Гомбровича испытывает на себе диктатуру усреднённой массы, враждебной к личности, стремящейся приладить ей эту самую рожу по образу и подобию собственной, да ещё и прилепить к ней попочку, ибо в представлении людей серьёзных, людей подавляющего всё и вся большинства («взрослых», по определению писателя) чистота, непосредственность, свобода — всего лишь достойные искоренения наивность, невинность, незрелость.



Гомбрович оказался среди первых, кто ещё семьдесят лет назад ужаснулся тому, какое опустошение способна принести человеку и человечеству только зарождавшаяся тогда массовая культура. Он увидел страшную угрозу в обоготворении «машинной цивилизации», в неизбежно сопутствующей ему стандартизации культуры мысли, социального поведения, искусства, в жёсткой и нетерпимой зрелости конформизма, способного лишить человека искренности, самостоятельности, свободы.

Однако понадобились кошмары сталинщины и гитлеризма, а затем и трагедия второй мировой войны, чтобы этот вопль Гомбровича по человеку и человечности был услышан в Европе и Америке. Его «Фердидурка» пережила второе рождение, а сам он своими книгами оказал огромное влияние на мировую культуру. Без них не только польская, но и вся мировая культура сегодня выглядела бы и куда беднее и куда беспомощнее — перед вызовами и угрозами, которые обрушил на человека XX век и, видимо, ещё обрушит XXI...

Вне этого влияния почти полвека оставалась по меньшей мере треть человечества — та, что жила в так называемом социалистическом лагере. Теперь настало время и для этой трети извлекать уроки из собственного прошлого, в чём могут помочь и «Фердидурка», и все последовавшие за ней книги Витольда Гомбровича. Были бы деньги на их издание, а главное — желание их читать...



Витольд Гомбрович

Перевод Андрея Ермонского

ФЕРДИДУРКА

Завершающие страницы последней, XIV главы[1]

А тем временем попочка воспаряла вверх и сияла миллиардом искрящихся лучей над миром, который был вроде бы как макетом мира, вырезанным из картона, покрашенным в зелёный цвет и освещённым сверху жарким огнём. Глухими тропками, избегая человеческих поселений, стали мы прокрадываться к станции, а путь был далёк — двадцать с лишним километров. Она шла, и я шёл, я шёл, и она шла, так, шли мы оба, сообща поддерживая наше шествие, шли под лучами беспощадной, лучистой и сверкающей попочки, ребячьей и оребячьивающей. Кузнечики прыгали. Сверчки трещали в траве. Птички сидели на деревьях или порхали. При виде какого-нибудь человека мы сворачивали или прятались в придорожных кустах. Но Зося уверяла меня, что знает дорогу, так как тысячу раз ездила туда в повозке или открытом экипаже, в бричке или на санях. Жара нас допекла. К счастью, мы сумели тайно подкрепиться молоком, высосав придорожную корову. И опять шли. И всё время, по причине объявления о любовных чувствах, мне приходилось поддерживать любовный разговор и ухаживать, скажем, оказывать помощь на досках, переброшенных через ручей, отгонять мух, спрашивать, не устала ли, — и выкидывать много иных знаков расположения и благосклонности. На что она подобным же образом спрашивала, обмахивала меня и выказывала мне. Я страшно устал, ох, только бы добраться до Варшавы, освободиться от Зоси и начать жить сызнова. Я хотел её поэксплуатировать единственно как предлог и видимость, дабы относительно зрело отдалиться от кучи в усадьбе и добраться до Варшавы, где спустя некоторое время я уже смог бы устроиться сам. Но пока мне предстояло интересоваться ею и вообще вести интимную беседу двух людей, которые находят друг в друге наслаждение, а Зося, как говорилось, охваченная моим чувством, становилась всё активнее. А попочка, неправдоподобно жарившая и вознесённая на высоту шести миллиардов кубических километров, опустошала долину мира.



Это была деревенская барышня, воспитанная своей матерью, а моей тёткой, Гурлецкой, урождённой Лин, а также прислугой — до сего дня она либо немного училась и посещала Высшую школу садоводства и Торговые курсы, либо чуток варила варенье, либо помаленьку собирала смородину, либо развивала ум и сердце, либо немного сидела, либо подрабатывала в конторе в качестве технической сотрудницы, либо капельку играла на фортепьяно, либо чуть-чуть ходила и говорила что-нибудь, но прежде всего она ждала и ждала того, кто придёт, полюбит, похитит. Это была великая специалистка по ожиданию, мягкая, податливая, робкая, и оттого у неё часто болели зубы, так как она великолепно подходила к приёмной стоматолога, а зубы её знали об этом. И вот теперь, когда наконец ожидавшийся явился и похитил, забрезжил этот торжественный день, она развернула интенсивную деятельность и принялась красоваться, выказывать, выворачивать наружу все козыри и демонстрировать их, чуть гримасничая, улыбаясь и подпрыгивая, закатывая глаза, смеясь зубами и радостью

[1] См. «Иностранная литература» 1991, № 1, стр. 208-211.

жизни, жестикулируя или напевая мелодию под нос, дабы дать свидетельство своей музыкальной культуры (ибо она немного играла на фортепьяно и умела исполнить «Лунную сонату»). Кроме того, она выдвигала и выставляла те части тела, которые были получше, худшие прятала... А попочка, возвышенная и высокая, на безбрежной голубизне небес господствовала над миром и светилась, яснела, блестела и, пригревая, припекая, иссушала травы и растения. А Зося, поскольку она знала, что люди в любви счастливы, была счастлива — и поглядывала лучистым, ясным взглядом, и я тоже должен был поглядывать. И она шептала:

— Я бы так хотела, чтобы всем было хорошо и чтоб все были счастливы, как мы, — если все будут добрые, то все будут счастливы.

Или говорила:

— Мы молоды, любим друг друга... Нам принадлежит мир! — И льнула ко мне, а я к ней должен был льнуть.

И в убеждении, что я люблю, она раскрылась передо мною, и разоткровенничалась, и стала говорить со мною искренне и доверительно, чего никогда ни с кем себе не позволяла. Ибо до сих пор она панически боялась людей, и, будучи воспитана моей, уже захваченной кучей тёткой, Гурлецкой, урождённой Лин, а также прислугой в известной аристократической изоляции, она никогда ни с кем не откровенничала из опасения подвергнуться критике или быть истолкованной неправильно, и она была словно бы внутренне неустроенной, не определённой и не обозначенной, не проконтролированной и не уверенной в том впечатлении, которое она производит. Она непременно нуждалась в доброжелательстве, не могла без доброжелательства, могла говорить только с тем, кто загодя и *a priori* был настроен к ней доброжелательно, тепло... Но теперь, видя, что я люблю, и полагая, что нашла себе тёплого поклонника *a priori*, абсолютного, который всё, что она ни скажет, примет с любовью, ибо любит, она стала откровенничать и выворачиваться наизнанку, рассказывала о своих печалях и радостях, вкусах и симпатиях, энтузиазме, иллюзиях и разочарованиях, восторгах, чувствах, воспоминаниях и обо всех мелких подробностях — ха, нашла-таки того, который любит, перед кем можно выговориться, уверенная в безнаказанности, уверенная, что всё будет принято без последующего наказания, с любовью, тепло... А я должен был подтверждать и принимать, восторгаться...

И она говорила:

— Человек должен быть всесторонним, совершенствоваться духовно и физически, должен всегда быть прекрасным! Я за полноту человечности. По вечерам я люблю упереться лбом в оконное стекло и закрыть глаза, я так отдыхаю. Я люблю кино, но обожаю музыку. — Я же



должен был подтверждать. И она продолжала щебетать, что утром, проснувшись, она обязательно трёт себе носик, уверенная, что носик не может оставить меня равнодушным, и заливалась смехом, и я тоже заливался. А потом печально говорила:

— Знаю, что я глупа. Знаю, что ничего как следует не умею. Знаю, что некрасивая... А я должен был отрицать. А она знала, что я отрицаю не во имя действительности и не ради правды, но только потому, что люблю, и она принимала эти отрицания с наслаждением, восхищённая, что нашла абсолютного поклонника *a priori*, который любит, который соглашается, принимает и воспринимает всё доброжелательно, тепло...



О, мука, которую мне приходилось выносить, дабы спасти по крайней мере видимость зрелости на этих тропках, бегущих по стерне, когда там, вдалеке, катались и гадко тузили друг друга народ и господа, а высоко подвешенная попочка, жуткая, безжалостная, зенитилась, сияла наконечниками лучей, миллиардами стрел — о, тёплое доброжелательство, убивающая, стреноживающая нежность, взаимное восхищение, влюблённость... О, наглость этих бабёнок, таких падких к этой сыгранности любви, так скорых на то, чтобы стать объектом восторга... Как она смела, будучи мягкой, ничтожной и никакой, соглашаться на мой пыл и принимать культ, лакомо и алчно насыщаться моим поклонением? Существует ли на земле и под попочкой, раскалённой и пышущей жаром, вещь более страшная, чем это женское теплецо, это стыдливое, доверчивое самообожание и втягивание в себя?.. И что ещё хуже, дабы ответить взаимностью и подкрепить соглашение о восторге, она стала восторгаться мною — и с интересом, со вниманием принялась расспрашивать меня обо мне не потому, что действительно интересовалась, а брала реванш — ибо знала, что если она будет мною интересоваться, я тем более буду интересоваться ею. Так я был принуждён говорить ей о себе, а она слушала, положив головку мне на плечо, и время от времени перебивала вопросами, чтобы подчеркнуть, что слушает. И в свою очередь кормила меня своим восторгом, прильнув ко мне, влюблённая, что, мол, так я ей нравлюсь, что сразу же произвёл на неё впечатление, что она любит всё больше, что я такой смелый, такой отважный...

— Ты меня похитил, — говорила она, упиваясь своим говорением. — Не всякий на такое решился бы. Полюбил и похитил, ни о чём не спрашивал, только похитил, не испугался родителей... Нравятся мне твои глаза, смелые, бесстрашные, хищные...

И под её восторгом я извивался, как под кнутом дьявола, а попочка, огромная, инфернальная, светила и пронизывала сверху, словно универсальный знак вселенной, ключ ко всем загадкам, абсолютный знаменатель вещей. Вот, прильнув ко мне, она лепила меня для себя и тепло, несмело, неумело превращала меня в миф по своему вкусу, и я чувствовал, что она неумело обожает мои достоинства и добродетели, отыскивает их и находит, распаляется и разжигает себя... Взяла мою руку и стала её ласкать, и я тоже ласкал её руку — а попочка, инфантильная, инфернальная, подбиралась к зениту, к кульминации и жарила сверху вертикально вниз.

И, повешенная у самой вершины пространства, она испускала свои золотистые, серебристые лучи на всю юдоль от горизонта до горизонта. А Зося всё крепче прижималась ко мне, всё теснее соединялась со мной и вводила меня в себя. Спать мне хотелось. Я не мог уже ни идти дальше, ни слушать, ни отвечать, однако же, должен был идти, слушать, отвечать. Мы шли по каким-то лугам, а на этих лугах трава была зелёная-зелёная и зеленеющая, вся в жёлтых калужницах, но калужницы были робкие, прильнувшие к траве, а трава немного скользкая, влажная и чуточку подмокшая, жарко курившаяся под неумолимым пеклом сверху. Много появилось и примул по обеим сторонам тропинки, но примулы были какие-то чайные и квёлые. Много на склонах анемонов, много дынь. В воде, во влажных канавках водяные лилии, бледные, выцветшие, нежные, белесые, в полнейшем покое и в припекающем, душном зное. А Зося всё льнула и откровенничала. А попочка покушалась на мир. Низенькие деревца, само



вещество которых было как бы худосочным и хворым, походили скорее на грибы и были так напуганы, что когда я дотронулся до одного, оно тут же треснуло. Тьма чирикающих воробьев. Сверху облачка розовые, беловатые и голубоватые, а может, муслиновые. Плохонькие и чувствительные. И всё неопределённо в своих очертаниях, всё так размазано, тихо и стыдливо, всё такое притаившееся в ожидании, нерождённое и неопределённое, что, в сущности, ничего здесь не было отделено и выделено, но каждый предмет соединялся с другими в сплошное месиво, белесое, пришибленное, тихое. Хилые ручейки журчали, омывали, иссякали и испарялись, либо кое-где побулькивали, образуя пузырьки и пену. И мир этот уменьшался, словно бы становился теснее, сжимался, а сжимаясь, напрягался и напирал, даже стискивал шею, как нежно душащий ошейник. А попочка, абсолютно инфантильная, отвратительно покушалась сверху. Я потёр лоб...

— Что это за местность?

А она повернула ко мне своё бедное, хрупкое, усталое лицо и ответила стыдливо и нежно, тепло прильнув к моему плечу:

— Это моя местность.

У меня перехватило горло. Сюда она меня привела. Ах, так, всё это, значит, было её... Но мне хотелось спать, голова моя свесилась, не было сил — ох, оторваться, отодвинуться хотя бы на шаг, отпихнуть на расстояние руки, ударить злобой, сказать что-нибудь недоброжелательное, разбить — быть злым, ах, быть нехорошим для Зоси! Ах, быть нехорошим для Зоси! «Я должен, должен, — думал я сонно, а голова моя упала на грудь, — я должен быть нехорошим для Зоси!» О, холодное как лёд, спасительное, живительное недоброжелательство! Самое время быть нехорошим. Нехорошим должен быть я... Но как же быть мне для неё нехорошим, когда я хороший — когда она меня завоёвывает, пронизывает меня своею добротой, а я своею её пронизываю, и льнёт ко мне, и я к ней льну... помощи ниоткуда! На этих лугах и полях среди робкой травы только мы двое — она со мной, и я с нею, — и нигде, нигде никого, кто бы спас! Я только один с Зосей — и с попочкой, словно бы замершей на небосклоне в своём абсолютном постоянстве, лучистой и излучающей, ребячьей и оребячьивающей, замкнутой в себе, погружённой в себя, сосредоточенной в себе и зенитной в застывшей кульминационной точке...

О, третий! На помощь, спасите! Прибудь, третий человек к нам двоим, приди, избавление, явись, дай мне уцепиться за тебя, спаси! Пусть же он прибудет сюда сейчас же, немедленно, т р е т и й ч е л о в е к, чужой, незнакомый, сдержанный и холодный, чистый, далёкий и нейтральный, пусть он, как морская волна, ударит своей чужеродностью в эту душную свойскость, пусть оторвёт меня от Зоси... О, третий, приди, дай мне опору для сопротивления, позволь зачерпнуть из тебя, приди, живительное дуновение, приди, сила, оторви меня, отцепи и отдали! Но Зося прильнула ко мне ещё нежнее, теплее, ласковее.

— Чего ты зовёшь и кричишь? Мы одни...

И подставила мне рожу свою. А у меня недостало силы, сон напал на явь, и я не мог — должен был поцеловать своею рожею её рожу, ибо она своею рожею мою рожу поцеловала.

А теперь прибывайте, рожи! Нет, я не прощаюсь с вами, чужие и незнакомые морды чужих, незнакомых морд, которые будут меня читать, я приветствую вас, прелестные букеты из частей тела, теперь пусть только и начинается — прибудьте и приступите ко мне, начните своё тисканье, пристройте мне новую рожу, чтобы снова надо было мне удирать от вас в других людей и гнать, гнать, гнать через всё человечество. Ибо некуда удрать от рожи, кроме как в другую рожу, а от человека спрятаться можно лишь в объятиях другого человека. От попочки же вообще нельзя удрать. Преследуйте меня, если хотите. Я убегаю с рожею в руках.

Вот и всё — пропел петух,
А читал кто, тот лопух!



Лешек Шаруга

ПЛОТЬ ЛИТЕРАТУРЫ

В феминистском дискурсе вопрос взаимозависимости тела и литературы — одна из главных точек отсчета. Телесное, плотское, вновь и вновь открываемое, истолковываемое и переистолковываемое, становится решающим в характере понимания и одновременно переживания мира. Соединение двух этих пространств познания, их нерасторжимое сплетение — это, кажется, самое интересное, что есть в словесности, вырастающей из феминистских поисков. Более того, такой подход позволяет успешно расширять границы художественной восприимчивости, преодолевая традиционно установленные запреты и ограничения (или самоограничения).

Я говорю об этом, так как Инга Ивасюв (1963 г.р.) открыто исходит из феминизма, а как литературовед принадлежит к ведущим в этой области. Она занимается многими родами словесности одновременно: историей литературы, литературной критикой, прозой (сборник рассказов «Город-я-город», 1999), а недавно дебютировала как поэт. Сборник «Любовь» (2001) сразу заинтересовал как рядовых читателей, так и профессионалов. Эти стихи иногда воспринимаются как своеобразный феминистский манифест. Я обращаю на это внимание, так как после 1989 г. этот контекст, по-видимому, занял довольно важное место в польской литературной жизни.

Однако он не выглядит необходимым при восприятии семантики и смысла стихов Инги Ивасюв, хотя «женское» в них несомненно представляет неотторжимую ценность. Демонстративное проявление женских чувств — и женской сексуальности — ассоциируется у нее с записыванием, закреплением того, что неуловимо и в то же время телесно и конкретно: «Стихи мне надо записывать тебе в блокнот / Или хотя бы в тетрадку в клеточку / И непременно чернилами (а при случае кровью)». Переживание и запись пережитого становятся здесь тождественны. Более того, когда пишешь — получаешь возможность пережить то, что не было пережито, делаешь слово плотью, как в стихотворении «Провинции моего сердца», где слово становится шестым чувством: «Твое тело открывает на меня глаза / Поблескивает сквозь пластик телефонной трубки / Чтобы: притронуться увидеть словом».

Любовь — это литература, художественное произведение: «моя любовь это плагиат и даже самоплагиат» — в таких категориях о любви можно говорить лишь тогда, когда вписываешь ее в пространство опыта одновременно экзистенциального и эстетического. Но, конечно, такая попытка отойти на расстояние от того, что крайне интимно, вызывает напряжение, разрывающее связность текста, ставящее под сомнение личность говорящего, личность субъекта речи. Отсюда вытекает, например, констатация в одном из стихотворений: «Надо мне бросить описание / Оказаться внутри языка». Перед нами демонстрация бессилия, здесь отражается сознание несказуемости того, что стихийно, и происходит прикосновение к самым границам того, что поддается высказыванию.

Плоть стихотворения (а содержание этих произведений — преображение чувства в поэтическую запись) становится неуловимой. В результате телесное оказывается чем-то невыразимым, неопределенным. Чернила-кровь, которыми записываешь пережитое на собственной шкуре (сборник стихов Ивасюв иллюстрирован циклом фотографий женского тела, на котором появляются слова стихотворений), — это своего рода «симпатические чернила», письмена которых могут проявиться лишь в процессе со-чувствования. Оно, это со-чувствие, и есть самое глубокое содержание любовного переживания, где стираются границы между «мужским» и «женским», а самым проникновенным оказывается чувство одиночества и отчаяния. Остается литература: «Да будет слово».



Перевод
Натальи Астафьевой

Инга Ивасюв

СТИХОТВОРЕНИЯ



ЯЕЁ

Имею. Сообщает. Нового кого-то.
Перестукивает пальцем за океан.
Это правда. Моложе. Но только
Чуть поуже в бедрах. Немного
Другого пола. Можно сказать. Привыкла
К этому. От рождения. Да, пожалуй, она
Женщина. Вытягивает руки, раздвигает
Губы. Изнутри увлажняется. Раз
В месяц скрывается в ванной.
Тогда исчезают тампоны, подкладываемые там
Под зеркало. Кладет ногу на ногу
На моих глазах. Лелеет надежды
На прошлое. Мной занята.
Растроганная неподдельно плачет
Прямо мне в глаза.
Моя моя. В неподходящем месте
Говорит: люблю. Не добавляет в слова
Искусственные красители. Я ее имею.
Это не сплетни. Умеет оставлять
Меня за шаг перед концом а также
Стонать без всякого завода.
Зайдите как-нибудь в четверг. Она тогда
Лежит подольше (полдня свободна)
И я охотно вам позволю посмотреть
Как яее имею. Для себя. Как отучаю.
От всего сначала

ЛЕЖА

Обрамленная вырезом для бедер
И своей улыбкой на другую тему
Лежу в зеленом свете
Свеч купленных за час перед этим
(а никто не догадался даже)
Сияю между простынями
Переливаюсь собой на подушке
Выхожу к тебе из лона постели
Из полумрака комнаты привыкшей
К твоему отсутствию в интерьере
Отполирована на этот раз до блеска
Отражаюсь в контактных линзах
Не исчезаю сквозняком задута
Остаюсь навсегда в этой позе
Лежа

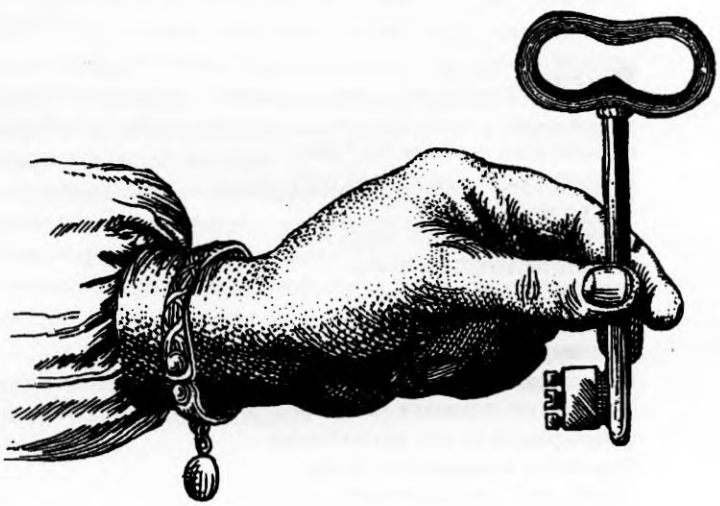
Рис. Дмитрий Шевчиков-Кисилев

МАРКИЗА ЭТО ЗНАЛА, ПРИНЦЕССА

— Принцесса, Принцесса, — он ей говорил. — Ты хотела бы так?
Увековечена вполоборота, на лестнице, у подъезда,
На вокзале,
Поправляющая Волосы Неназванная Знакомая Купающаяся
Уходящая С Улыбкой.
Ты бы могла быть как та
Фигурка из фарфора, маркиза в кружевах, драгоценное украшенье
У люстры,
На скамеечке в храме, на пюпитре, на кухонном табурете.
Локоны, корсет, обязательно белое белье
Чтобы сразу кровь из открытой аккуратно голубой жилы.
— Маркиза, он не мог послабить,
Вгоняя в тебя горячую свинцовую пулю.
Она это знала.
Поэтому я преклоняю колени перед тобой в книге
Перед тобой поднимающей маленькую руку
С хлыстом
Обруганный пес и выгнанная за дверь горничная
Жду, жду свиста в воздухе
Оглушительного свиста, с которого начинаю полет.
Это все не забава
Жду равновесья, выравниванья пульса
Сладость будет нам дана позже
Внезапно
А пока что я буду стоять на коленях
— Принцесса, ты хлыст держи.

ЧУДОВАНИЕ

Ты меня называешь чудной
Я тружусь на трех службах
И тащу тяжесть жизни
Смываю с пальцев перстни
Пеной которой чистят
Домашние вещи
Чудная — ты восклицаешь
Над тем что от меня осталось
Над кроватью
Поставленной в надлежащем месте
Ты говоришь
И чудо происходит



СВЯЗЬ

Я живу с тобой по телефону
Накапливаю импульсы оплачиваю счета
Распознаю сигналы принимаю информацию
По голосовой почте касаясь
Подушечками пальцев твоих губ
Уносимых ветром в телефонной будке
От которой ничего не осталось
Так что я говорю
Из собственной сумки
Я живу с тобой среди разных
Обязанностей планируемых на день
Покупая на вечер четвертинку
И отвечая на вопросы
Которые всегда задаются
В несостоявшемся разговоре

В тишине отложенной трубки
Твое тело притоплено пространством
Мурчанием импульсов и холодной пластмассой
Твое тело сопротивляющееся расстоянью
Безгласно вперяющее на меня глаза
Чтобы тоже увидеть этот голос который
Звучит по ту сторону
Беспроводного аппарата
Когда я говорю чтоб тебя удержать
Коснуться увидеть словом



***

моя любовь это плагиат и даже самоплагиат
случилась в ту весну и в каждый четверг
в лесу в дешевом отеле на чужом двуспальном
матраце вносимом третий раз наверх и тогда тоже
помню хотя влюбленные страдают амнезией
а может речь об анамнезе не знаю точно
кажется я засыпала под боком рассказывая историйки
из детства и высосанные также так могло быть
первый раз если не считать прочитанных книг
и так называемой действительности которая бьется о нас
в местах добровольного пребыванья меблированных кое-как
словами никогда и всегда которых ты не любишь
несмотря ни на что я тебе не позволяю этого и прошу
чтобы не было никого до меня чтобы я была первой
любовницей распятой на сухожильях твоего дня
конечно с необходимой в таких случаях мерой



Кшиштоф Бурнетко

ЯН МАЛИЦКИЙ, ЧЕЛОВЕК-СОЗВЕЗДИЕ

Середина 1981 года. «Солидарность» укрепляет свои структуры, а партия уже вовсю готовится к подавлению независимого общественного движения. Полной загадкой остается реакция брежневского СССР. Поляки гадают: «Войдут — не войдут?» — тем более, что все еще жива память о вторжении в Чехословакию и идет война в Афганистане. Одновременно ухудшается экономическая ситуация, о чем свидетельствуют хотя бы прилавки магазинов — пустые или заставленные бутылками с уксусом и водкой. Казалось бы, внимание поляков, интересующихся политикой, может быть сосредоточено только на текущих событиях, причем скорее внутренних, чем заграничных.



Между тем в сентябре 1981 г. выходит первый номер журнала «Обуз» («Лагерь») — как сказано в подзаголовке, «независимого журнала, посвященного проблемам соседних стран». «Обуз» обращает на себя внимание не только кругом интересов, но и серьезностью отношения к ним, а также солидным для самиздата объемом. Редакция разъясняет: «Руководствуясь убеждением, что нынешняя и будущая судьба Польши тесно связана с переменами, происходящими во всем коммунистическом мире, мы решили создать журнал, посвященный проблемам, насущным для обществ, живущих в этой системе. Наша цель — познакомить польского читателя со взглядами демократической оппозиции в коммунистических странах, а также с историей, традициями и культурой этих стран». Далее редакция заявляет: «Публикуемые тексты будут охватывать всю гамму идеологических, общественных и экономических направлений».

Журнал должен был выходить раз в два месяца. Идея его создания принадлежала Ежи Таргальскому, молодому историку, только что исключенному из Варшавского университета, специалисту по... древним языкам (впоследствии он эмигрировал и под псевдонимом Юзеф Дарский занимался тематикой Восточной Европы — в частности, работал на радио «Свободная Европа»). Вместе с ним журнал создавали другие молодые научные работники университета: Анджей Ананич (в 1992 г. он был одним из участников переговоров по подписанию польско-российского договора, затем — дважды — заместителем министра иностранных дел), Марек Перналь (в 90-х — посол в Праге) и Казимеж Стембрович (ныне работающий в библиотеке Сейма). Со временем к ним присоединились студенты: Роберт Богданский (в 80-90-х — журналист Би-Би-Си, в настоящее время — директор Польского агентства печати), Войцех Мазярский (в 90-х — известный публицист «Газеты выборчей») и Ян Малицкий, который издает «Обуз» по сей день, будучи одновременно директором Института Восточной Европы при Варшавском университете и главным редактором другого важного журнала — «Пшеглёнд всходний» («Восточное обозрение»).

«Сотрудничество с оппозицией я начал в 1979 г. с распространения изданий КОРа. Потом Юрек Таргальский привлек меня к работе в «Обузе». Сама идея родилась еще зимой 80-го, а летом следующего года мы уже начали готовить первый номер», — вспоминает Малицкий. И полушутя добавляет: «Таргальский был настоящим тираном. Каждый из нас должен был заниматься одним из регионов восточного блока. Сам Таргальский анализировал политическую и советологическую мысль того времени, Ананич интересовался национальным вопросом в СССР, особенно влиянием ислама, Перналь следил за ситуацией в Чехословакии, Стембрович занялся Россией, а специалист по венгерской филологии Мазярский — Венгрией. Мне Таргальский вроде бы дал право выбора, но, когда я уже решил, что буду заниматься Прибалтикой, велел в течение полугода выучить литовский, а в течение следующих шести месяцев — латышский. И на редакционных собраниях экзаменовал меня на предмет знания слов. А учить их было нелегко — ведь мы соблюдали суровые правила конспирации. Например, словари я раздобыл благодаря любезности знакомой библиотекарши, которая выдала их мне, не зарегистриро-

вав в картотеке. Мы были уверены, что гебешники захотят разгромить «Обуз» любой ценой. Госбезопасность могла попытаться засечь нас, скажем, проверяя, кто берет книги на определенные темы. Впрочем, вскоре после этого мне пришлось вернуть эти учебники: власти назначили проверку всех подозрительных книг в библиотеках. Даже официальные советские издания вроде «Красной звезды» мы выписывали на имя знакомых. Правда, в то время оппозиция действовала в Польше практически явно, а многие независимые издания печатали фамилии и адреса своих сотрудников, но мы считали, что журнала о советском блоке коммунисты все же не потерпят и что в данном случае гласность была бы глупостью. Кроме того, мы боялись давления советского посольства и даже привлечения КГБ. Поэтому мы с самого начала действовали в строгой тайне — до такой степени, что некоторые деятели «Солидарности» относились к «Обузу» подозрительно: не провокация ли это?»

Во времена «Солидарности» редакция «Обуза» успела издать два номера, посвященных прежде всего ситуации в СССР: системе лагерей, влиянию Москвы в Латинской Америке и Африке, положению и роли мусульман в Советском Союзе, деятельности украинской оппозиции. Однако не остались без внимания и другие страны социалистического лагеря: общественные протесты в КНР, отношения между государством и Церквями в Чехословакии и Венгрии, экономическая разруха в Румынии, война в Афганистане. Пользуясь библиотечными фондами, члены редакции анализировали официальную коммунистическую прессу, добывали западные источники, сожалея при этом об отсутствии более тесных контактов с гражданами восточного блока. Причина заключалась, с одной стороны, в боязни разоблачения, с другой — в страхе. Одним из немногих контактов был дезертир из размещенной в Польше советской воинской части, которому они некоторое время помогали скрываться.

Кроме аналитических текстов, в каждом номере был календарь событий последних недель по отдельным странам, а также перепечатки и анализ основных документов оппозиционных движений.

Введение военного положения в декабре 1981 г. прервало издательский цикл, однако уже начиная с весны 1982 г. «Обуз» снова начал выходить (в №5 сообщалось, в частности, о реакции обществ советского блока на правление хунты генерала Ярузельского). Одновременно редакция с удовлетворением отмечала, что к восточной тематике все чаще стали обращаться другие подпольные издания. Видимо, активисты оппозиции и оппозиционно настроенная часть общества оценили ее значение. «Обуз» откликнулся на это попыткой создания в 1983 г. Института Восточной Европы, укорененного в традиции европейской русистики и современной советологии.

К тому времени Малицкий уже начал самостоятельно редактировать «Обуз»: «Однажды Юрек затащил меня в какой-то парк и сказал, чтобы я подготовил следующий номер. Сегодня говорить об этом легко, но тогда это означало ответственность не только за журнал, но и за судьбу сотрудников, типографов, распространителей. А тут еще институтом нужно было заниматься. У меня была идея вести в условиях подполья научные исследования по истории каждой из стран этого региона в XIX и XX вв..: изучать их экономику, патриотические движения и прежде всего вопросы этики. Мы считали, что империя распадется в результате взрыва национальной бомбы, и потому хотели проанализировать демографическую динамику среди мусульман и русских, роль религии и т.д.».

В состав совета института вошли известный знаток России историк Ежи Куманецкий и знаток Балкан Ежи Хмелевский (впоследствии издатель самиздатского журнала «Европа», в настоящее время посол Польши в Хорватии). Институт хотел создать собственную библиотеку, выписывать книги с Запада, собирать официальную и неофициальную прессу, документы из Восточной Европы и в то же время вести семинары, присуждать магистерские и докторские степени — начались даже переговоры о признании их западными университетами. «Такой план мог родиться только в голове двадцатилетнего юнца... Из-за этой неугомонности я и попался». В 1985 г. Малицкого как организатора института арестовала госбезопасность: «Во время следствия меня спрашивали и об «Обузе», не без оснований пытаясь связать эти две инициативы, но у них не было никаких доказательств. Журнал был так хорошо законспирирован, что на протяжении всей его истории не случилось ни одного провала».

После восьмимесячной отсидки в следственном изоляторе Малицкий получил условный приговор за распространение незаконных изданий и расшатывание устоев общественного строя. Сам он говорит об этом: «Меня хотели обвинить в попытке вооруженного переворота, т.к. во время обыска у меня нашли маузер, семейную реликвию XIX века. Однако маузер уже изрядно проржавел, и баллистические исследования показа-

ли, что стрелять из него невозможно... Я тогда учился на последнем курсе классической филологии, а истфак уже закончил — там я занимался средневековьем. Но когда я вышел, то не стал к этому возвращаться, решив, что есть вещи поважнее рыцарского кодекса чести. Впрочем, у меня и так не было шансов попасть в университетский штат».

«Обуз» — это еще и полтора десятка книг, изданных «библиотекой» журнала. В их числе, в частности, такие книги, как «Третья революция. Петроград — Кронштадт, 1921» Витольда Стера, «Белые ночи» Менахема Бегина, «Утопия у власти» Михаила Геллера и Александра Некрича и др.

После перелома 1989 г. люди, связанные с «Обузом», предложили руководству Варшавского университета создать Центр изучения национальных проблем СССР, Центральной и Восточной Европы, который в результате возник на базе Института... востоковедения при кафедре... тюркологии, а возглавил его все тот же Малицкий. В рамках своей деятельности центр ежегодно устраивал лекции-беседы и публичные лекции; начал издаваться — уже легально — «Обуз». Со временем центр был преобразован в Институт Восточной Европы и Средней Азии, при котором с 1998 г. существует дневное отделение (специализации: «Восточная Европа», «Россия — Средняя Азия — Кавказ» и «Центральная Европа — Балканы»), а с 2000 г. — курсы для дипломированных специалистов. Институт проводит также аналитические (в сотрудничестве с варшавским Центром восточных исследований) и междисциплинарные семинары на тему Восточной Европы и внешней политики. В 1999 г. на базе института была создана Школа восточных языков (в политическом, а не географическом смысле этого слова). Среди 16 преподаваемых там языков — в частности, киргизский, эстонский, грузинский, армянский, украинский, белорусский и казахский.

Первые выпускники покинули институт в 2000 году. Некоторые из них уже занимают важные государственные и общественные посты (в Центре восточных исследований, Польском агентстве печати, различных фондах). Кроме того, начиная с 2001/2002 учебного года, институт при поддержке правительства Польши осуществляет стипендиальную программу, рассчитанную на 25 кандидатов из постсоветских государств. Во время каникул проводится Летняя школа для студентов с Востока (на протяжении 12 лет ее закончили свыше 200 слушателей).

«В 1991 г. — говорит Малицкий — я создавал ее с мыслью дать молодым людям из бывшего СССР возможность контакта с научным миром демократических стран. Поэтому мы с самого начала приглашали преподавателей из США и Западной Европы. Потом многие наши выпускники сделали в своих странах карьеру — в политике, дипломатии, органах правосудия, науке, СМИ. Однако моя мечта — собрать в Варшаве интересующуюся восточной тематикой молодежь с Запада. Знания о бывшем СССР могли бы стать отличительной чертой и козырем Польши в Евросоюзе».

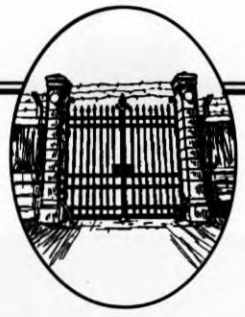
Преподавателями института были в разное время люди такого масштаба, как профессор Сорбонны Даниэль Бовуа, Бронислав Геремек (бывший министр иностранных дел Польши), Михаил Геллер (Париж), Мартин Малиа (Беркли), Ричард Пайпс (Кембридж, Массачусетс), Ежи Помяновский (главный редактор «Новой Польши»), Желю Желев (бывший президент Болгарии) или литовский поэт Томас Венцлова.

В число заслуг института входит также «Библиография Восточной Европы» — список восточноевропейских научных публикаций по социологии, политологии, культурологии, экономике и др., изданных в странах региона. Над очередными томами работают коллективы из тех стран, которым эти тома будут посвящены.

Начиная с 1991 г., кроме «Обуза», посвященного главным образом текущей политике и новейшей истории посткоммунистических государств, Малицкий издает «Пшеглёнд всходний». Теперь этот журнал имеет ярко выраженный научный характер и сосредотачивает свое внимание на восходящей к средневековью, очень широко понимаемой истории стран, лежащих «к востоку от Буга» (кроме текстов о политической истории в «Пшеглёнде» можно найти анализ эволюции языка и правовых институтов, религиозных, культурных, литературных и даже архитектурных тенденций). Редакция «Пшеглёнда» присуждает также ежегодные премии за научную и общественную работу, посвященную «восточным вопросам».

«Конечно, — говорит Малицкий, — оба журнала читаются лишь в узком кругу специалистов и существуют за счет дотаций и низкой себестоимости. Если бы авторы начали требовать гонорары, журналы ожидал бы крах. Однако они существуют: мы издали уже 25 номеров «Пшеглёнда» и 39 номеров «Обуза» — единственного независимого журнала времен ПНР, сохранившегося по сей день».

«Если бы не «Обуз», я бы, наверное, стал кабинетным профессором истории Средних веков и проводил время, копаясь в архивах и экзаменуя студентов. Благодаря тому, что я заинтересовался Россией и Востоком, я веду интересную жизнь».



Вениамин Иофе

БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЦКИЙ ПОБЕГ 1925 ГОДА

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) в Советском Союзе 1920-30-х годов был известен всему миру как пример неограниченных возможностей советской власти по подавлению любого инакомыслия и любой оппозиционности, подавления не ограниченного никакой юридической процедурой и никакими моральными нормами. Как символ всевластия государства он должен был воплощать принцип неотвратимости наказания и не оставлять своим жертвам надежд на возможность уклонения от назначенной кары.

Тем не менее, побеги заключенных из Соловецкого лагеря в 20-х годах и из Белбалтлага (чьим подразделением стал СЛОН) в 30-х были достаточно рядовым явлением. Бежали с самих островов, бежали, что было намного легче, с материковых командировок, бежали из пересыльного лагеря на Поповом острове (Кемперпункт)[1]. Уходили за границу, уходили вглубь страны. Ушедшие уносили на свободу знания о самой сердцевинной структуре советской государственной системы, о советском концлагере. Соловки были символом красного террора, и советская пропаганда этого не скрывала, но для того, чтобы население цепенело от произнесения самого слова «Соловки», все, что там происходило, должно было быть покрыто тайной. Любые конкретные знания о происходящем на Соловках превращали ужас в отвращение и негодование. Поэтому так болезненно реагировала советская пропагандистская машина на любую информацию о том, что действительно делалось в этих местах. И именно эти знания уносили с собой беглецы. Путь на свободу по лесам и болотам был труден, и мало кто мог его одолеть. Немногие могли обойти засады и уйти от погони, а те, кто мог, как правило, были крестьянами, охотниками, солдатами, которые, выйдя на волю, не могли передать свои знания людям, рассказать так, чтобы их услышал мир. Именно поэтому так важен был опыт тех образованных беглецов, которые смогли не просто уйти, но и рассказать, написать, оставить письменные свидетельства, книги.

За долгую историю Соловков и БЕЛ их было немного: побег генерала И.М.Зайцева из ссылки в Усть-Сысольске в 1928 году (ушел в Китай в 1929)[2], пастора Адама Куорги в 1930 году[3], побег семьи

[1] В 1927 году с Соловков бежало 12 человек, с Кемперпункта 188 (из них 119 были задержаны, 26 убиты при задержании). В розыске на 01.01.1928 числились 12 бежавших с Соловков и 43 бежавших с материка.

[2] Зайцев И.М., «Соловки: Коммунистическая каторга или место пыток и смерти. Из личных страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений», Шанхай 1931.

[3] Kuorti Aatami *Kirkossa keskitysleiriss,* Helsinki 1965.

Петр Мицнер
ПАМЯТИ ВЕНИАМИНА ИОФЕ



Из Санкт-Петербурга пришла печальная весть. В возрасте 64 лет скоропостижно скончался директор научно-информационного центра «Мемориал» Вениамин Викторович Иофе. По образованию инженер-химик, в 1965 г. он был арестован за участие в распространении самиздатского журнала «Колокол» и приговорен к трем годам лагерей строгого режима. После выхода на свободу из Дубровлага занялся историей диссидентства в СССР. Сотрудничал с историческим сборником «Память» и редактировал нелегально издаваемый журнал «Сумма». Он также был сотрудником Русского общественного фонда, помогавшего семьям политзаключенных, за что и был уволен с рабо-

ты. В 1988 г. стал одним из основателей общества «Мемориал». Он организовал работу по сбору документации (в том числе тех материалов, которые находились в закрытых архивах и спецхране), был инициатором издательской и выставочной деятельности, отдавая себе отчет, как велика ее роль в просветительской работе. Вся его деятельность опиралась на солидный интеллектуальный фундамент — на философские и историософские размышления. Можно также сказать, что основой его мировоззрения было несколько основополагающих принципов. Этот неукротимый правозащитник с горечью констатировал, что главным несчастьем XX века было то, что не соблюдалось элементарное право каждого человека — право на жизнь. Вениамин Викторович сознавал необходимость противодействия злу и поэтому, несмотря на пессимистическое отношение к истории, не опускал рук, был всегда активен и от других требовал того же. От отчаяния его спасала ироническая улыбка, в том числе и по собственному адресу.

В 1996 г. он принял участие в организованном центром «Карта» в Подкове-Лесной съезде бывших диссидентов. Но и задолго до того он живо интересовался польскими делами. Работая с группой членов «Мемориала» над архивами Соловецких лагерей, он обнаружил и передал мне материалы, касающиеся знаменитого побега 1925 г., в котором принимал участие поляк Эдвард Мальброцкий. В прошлом году он написал для «Новой Польши» статью, подытожившую имеющуюся у нас информацию об этом когда-то громком событии, позволив мне дополнить ее сообщением о польском беглеце.



Фрески в ските на острове Азнырь

Чернавиных из Кандалакши в 1932 году[4] и наконец побег братьев Солоневичей в Финляндию в 1934 году[5]. Однако самым ранним из них был побег 1925 года, организованный двумя офицерами Российской армии Ю.Д.Безсоновым и С.А.Мальсаговым.

Созерко Артаганович Мальсагов, бывший офицер Ингушского конного полка, попал в Кемперпункт СЛОН в январе 1924 года. В течение года он вынашивал план побега, осторожно искал товарищей. Зимой 1925 года с этой целью он сблизился со студентом-медиком Николаевым. Но Николаев служил в конторе лагеря и планировал бежать внутрь страны по поддельным документам, что ему этой же зимой и удалось, а Мальсагов хотел уйти через финскую границу из Советской России навсегда. В феврале 1925 года в Кемперпункт прибыл с этапом бывший капитан драгунского полка Юрий Дмитриевич Безсонов. Два офицера быстро нашли общий язык и взаимопонимание и начали готовиться к побегу.

Лучшие возможности для побега были у тех заключенных, которых выводили на внешние работы за пределами Кемперпункта. Такие бригады числом от 5 до 12 человек отправляли за ворота лагеря практически каждый день, и с весны 1925 года Мальсагову поручили составлять списки этих команд. Это давало возможно собрать несколько беглецов, дождаться благоприятной ситуации и бежать организованной группой. После того как Безсонов и Мальсагов договорились между собой, они начали искать единомышленников. Первым привлекли поляка И.О.Мальбродского, который владел неоценимым сокровищем — компасом, спрятанным в куске мыла. Поскольку никаких карт в распоряжении беглецов не было, единственной возможностью не заблудиться на пути в Финляндию было просто идти на запад, и наличие компаса было гарантией успеха. Четвертым участником стал уроженец Виленской губернии, «поляк» Сазонов. Больше никого подобрать не удалось, и пятым Мальсагов вписал в список кубанского казака Приблудина, которого ни о чем заранее не предупредили.

Рано утром 18 мая 1925 года группа из этих пяти человек под конвоем двух красноармейцев была отправлена рубить лес на берегу Кеми. В восемь часов утра по сигналу Безсонова четверо заговорщиков напали на двух солдат и обезоружили их. Казак Приблудин согласился присоединиться к побегу. Чтобы запутать следы, беглецы прошли около

---

[4] Tchernavin T., *Escape from the Soviets,* London 1935, N.Y. 1934; Tchernavin V.V., *I Speak for the Silent: Prisoners of the Soviets,* London 1935, Boston 1935. На русском языке: Чернавин В., «Записки «вредителя»», Париж 1934, Санкт-Петербург 1999; Чернавина Т., «Жена вредителя», Париж 1934, под названием «Побег из ГУЛАГа», Санкт-Петербург 1999.

[5] Солоневич И.Л., «Россия в концлагере», София 1936; Париж 1938; Нью-Йорк 1957.

25 километров вдоль железной дороги на север. По дороге по одному отпустили обоих красноармейцев, отняв у них обувь, чтобы замедлить возвращение в лагерь (после некоторого спора беглецы решили их не убивать). После этого группа свернула на восток, потом на юг, и вернулась практически в точку начала побега. И только затем, взяв направление в сторону Финляндии, они пересекли железнодорожное полотно и пошли на запад. Безсонов принял на себя единоличное командование группой. Он же на чистой странице своего Евангелия вел путевой дневник их одиссеи.

К 26 мая у беглецов кончились взятые с собой продукты. У них было немного денег. У встреченных по дороге двух карелов им удалось купить две буханки хлеба и узнать о том, что река патрулируется катером, что вся округа оповещена о пяти беглецах, и что за поимку каждого назначена награда — 10 пудов муки. На молочной ферме у деревни Подужемье их ждала засада, с которой они вступили в перестрелку. Чекисты бежали, беглецы беспрепятственно ушли дальше, однако их попытки найти продукты в обжитых местах оставались безуспешными, в деревнях их ждали засады. 5 июня им, наконец, повезло — беглецы набрели на лабаз карельских косарей со складом хлеба, муки и соли. После отдыха, взяв по пять буханок хлеба на каждого, они продолжили свой путь. К 11 июня хлеб кончился совершенно, и они снова стали голодать. Им встретилась уединенная молочная ферма, обитатели которой, дав им немного продуктов, бросились к лодке вызывать ОГПУ. Эта попытка была пресечена выстрелами, после чего продукты в доме были реквизированы. 14 июня они попали под обстрел засады, по их предположениям пограничной, от которой им удалось уйти. 16 июня путь преградила река, через которую пришлось переправляться вплавь на спине у Сазонова (остальные не могли справиться с течением). 17 июня им удалось подстрелить оленя, а 19 июня они пришли к крестьянскому дому и попытались выяснить, в какой стране они сейчас находятся, что было непросто, так как местные жители не говорили по-русски по обе стороны границы. От советского червонца за провизию хозяева отказались, но серебряные монеты (около рубля серебром) приняли. Пришлось иди дальше. Уверенность в том, что граница перейдена все прибавлялась: они нашли пачку из-под сигарет с надписью латиницей. Наконец 23 июня беглецы вышли к реке, на берегу которой стояли сплавщики, и окликнули их. Тут они и узнали, что СССР остался далеко позади. Выяснилось, что фермер, принявший серебряные монеты, подал жалобу в полицию, требуя компенсацию. В газетах это освещалось таким образом: «Пятеро большевистских бандитов пересекли границу и совершили вооруженное нападение на финскую ферму». Беглецы были доставлены в тюрьму города Улсаборга, где начальник тюрьмы самым любезным образом снабдил их провизией и деньгами, а затем в тюрьму Хельсинки, где их дело было быстро и доброжелательно разрешено.



Ворота пересылочного пункта

После освобождения судьба беглецов сложилась по разному. Мальбродский вернулся в Польшу. Польское гражданство уроженца Виленской губернии Сазонова не было подтверждено, и дальнейшие следы его, так же как и следы примкнувшего к группе казака Приблудина теряются. Юрий Бсзсонов осел в сначала в Париже, а после войны в Лондоне, где умер в 1970 году. В первые же годы эмиграции он написал и издал книгу об их беспримерном побеге[6]. Судьба Мальсагова оказалась самой драматичной. Из Финляндии он переехал в Ригу, где в течение 1926 года рижская газета «Сегодня» печатала его воспоминания на русском языке. Эти воспоминания уже в 1926 году были переведены на английский язык и изданы в Лондоне[7]. Издание книг Ю.Безсонова и С.Мальсагова на основных европейских языках вызвало резкую реакцию европейского общественного мнения. Стали появляться публикации, посвященные использованию труда заключенных в СССР, а в Англии вскоре началась кампания по объявлению эмбарго на импорт советского леса, добытого с применением рабского труда. Чтобы погасить волну критики в западной печати, инициированной книгами Ю.Безсонова и С.Мальсагова, была организована известная контрпропагандистская акция — визит М.Горького на Соловки в июне 1929 года. Эта поездка должна была успокоить европейскую общественность и убедить ее в том, что происходящее на Соловках не выходит за пределы

[7] Malsagoff S., *An Island Hell. A Soviet Prison in the Far North*, London 1926.

[6] Безсонов Ю.Д., «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков», Париж 1928; Bessonov J.D., *My Twenty-Six Prisons and My Escape from Solovetski*, London 1929; Bezsonov I.D., *Mes vingt-six prisons et mon evasions de Solovki,* Paris 1928.

ПОСТСКРИПТУМ

В личном деле польского беглеца с Соловков Эдварда Мальброцкого, которое обнаружил «Мемориал», находится анкета заключенного, в которой можно прочесть: «Мальброцкий Эдвард. Мещанин, родился в Варшаве [в 1894]. До ареста проживал в Варшаве, ул. Подвале, 29. Работал в бюро по составлению заявлений. Учитель, беспартийный, холост. В 1917 г. в Лодзи был арестован немцами за участие в Польской военной организации» (текст документа приводится в обратном переводе с польского. — *Ред.*).

Казалось, все, что мы знаем о Мальброцком, и ограничится этими скупыми сведениями, но совершенно неожиданно несколько лет тому назад в варшавском архиве Управления охраны государства я наткнулся на протоколы следствия по его делу 1954 года. Из них следовало, что Мальброцкий уже во время польско-советской войны служил в военной разведке. По ее каналам он проник в 1924 г. в Россию, где был арестован и отправлен на Соловки. После побега из лагеря и возвращения в Польшу он был штатным сотрудником сектора по вопросам коммунизма в МВД, вначале в Варшаве, а позже — в приграничных городках Косове и Пружанах. Его второй страстью была журналистика: он писал спортивную хронику для различных газет.

Во время II Мировой войны он сражался в подполье. С 1942 г. был заместителем командира II района Армии Крайовой (варшавского предместья Прага). У него был тогда псевдоним «Лагодный» («Мягкий»). В 1945 г. поселился в Лодзи, где был тихим, незаметным служащим в текстильной промышленности. Так ему удалось прожить до 1954 г., когда его арестовали.

В органах о нем многое знали. Во время допросов все время возвращались к его шпионскому заданию в России, до побега с Соловков. Мальброцкий же упорно твердил, что не работал в разведке, а вырвался из буржуазной Польши на родину пролетариата, потому что слышал, что там живется лучше. И так на каждом допросе, что доводило следователей до бешенства — это видно по заметкам на полях протоколов, испещренных такими записями: «Бред», «Снова врет». Они его не сломали и не узнали ничего, кроме того, что им было уже известно. В результате он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы.

После выхода на свободу он работал сторожем. Умер в Лодзи в 1969 году. В деле не сохранилось его фотографии. В анкете написано, что его рост — метр семьдесят, а волосы седые. Загадочный персонаж — как и пристало сотруднику разведки.

норм цивилизации. М.Горький, по-видимому, не преуспел в этой миссии: критика советской пенитенциарной системы в газетах Запада продолжалась. Это привело к тому, что в марте 1930 года применение рабского труда в СССР должен был публично отрицать сам пред. совнаркома В.М.Молотов. Угрозу эмбарго предотвратил мировой экономический кризис 1929-1933 годов, однако вскоре после отъезда М.Горького на Соловки прибыла т.н. комиссия А.Шанина по обследованию Соловецких лагерей, которая установила большое количество злоупотреблений и фактов бесчеловечного отношения к заключенным (по результатам ее работы были расстреляны несколько десятков человек из администрации лагеря). На несколько лет положение заключенных оказалось облегчено.

Автор «Адских островов» Созерко Мальсагов в 1929 году поступил на службу в польскую армию. Прирожденный конник, он служил ротмистром кавалерии сначала в 14 полку Язловецких улан во Львове, затем в 10 уланском полку в Белостоке, а позже в 8 полку конных стрелков в Хелмно. Когда началась война, он участвовал в боях в Поморье, попал в немецкий плен, в 1942 году бежал из лагеря для военнопленных в Баварии и присоединился к отрядам польского сопротивления (подпольная кличка «Казбек»). Затем сотрудничал с диверсионными группами французского сопротивления. С 1946 года жил в Лондоне.

В 1963 году по инициативе дочери Мадины он вступил в переписку со своей семьей (которая пережила высылку ингушского народа в Среднюю Азию в 1944 году, а после 1956 года вернулась и жила в Грозном): с женой Леби и дочерьми (Раей, родившейся в 1920 г. и Мадиной, родившейся в 1924 г.). В 1964 г. эта переписка была прервана по требованию КГБ (сама Мадина была за нее уволена с должности главного врача одной из районных поликлиник), но в 1974 г. ее возобновил сын Мадины Сафар и далее она продолжалась до самой смерти Созерко Мальсагова в 1976 году.

В 1990 году внук Мальсагова Шахбулат Яндиев, аспирант МГУ, смог получить через знакомого японского ученого экземпляр английского издания «Адских островов» и сделать обратный перевод текста с английского на русский. Этот перевод был опубликован в Назрани как приложение к журналу «Дош» в 1990 г., и в Нальчике в 1996 г.[8]

Мадина Мальсагова с начала военных действий в Чечне в 1994 г. вернулась к работе врача — работала хирургом полевого госпиталя в Грозном.

[8] Мальсагов С. А., «Адские острова. Советская тюрьма па Дальнем Севере», Назрань 1990 Под тем же названием, Нальчик, «Эль-Фа», 1996 (В это издание включена переписка с семьей 1964-1976 гг. и архивные документы по истории рода Мальсаговых).

РОССИЯ В ПОЛЬСКИХ СМИ — ОТ ЭМОЦИЙ К АНАЛИЗУ

Беседа с Янушем Адамовским

***Януш Адамовский** (род. в 1952 г.) — доктор гуманитарных наук, политолог, профессор. Известен как специалист по вопросам СМИ. Автор многочисленных публикаций и трудов, среди которых «Российские СМИ и журналистика в период перестройки (1985-1997)». В настоящее время работает над коллективным сборником, посвященным процессам трансформации в России после 1991 года. Директор Института журналистики Варшавского университета.*



— Польские СМИ без российской тематики — нонсенс. Если гипотетически представить себе неожиданный запрет на публикацию всего, что связано с Россией, то газеты и журналы «пойдут» белыми пятнами. Как бы вы объяснили такой своеобразный феномен?

— Присутствие России в наших средствах массовой информации традиционно: не одно столетие переплетались исторические судьбы Польши и России, отзывающиеся эхом в каждом поколении. Другое дело, под каким углом все это подается. Правда, количество публикаций, тематически «привязанных» к России, всегда было достаточно высоко — независимо от периодических колебаний, приходящихся на время особенной активности или напряжения в наших двусторонних отношениях. Все, что происходит в России, всегда интересовало поляков.

— Какие факторы, на ваш взгляд, являются определяющими в публикациях на российскую тематику?

— Вы знаете, я бы не стал говорить о раз и навсегда установившихся канонах. Но ваш вопрос вполне естествен, потому что образ России, пропущенный сквозь призму польской публицистики, неоднороден. Прежде всего, на него влияет климат текущего состояния польско-российских отношений. Немаловажны и субъективные обстоятельства: межчеловеческие контакты и личные предпочтения авторов отдельных публикаций, а также конкретная редакционная политика того или иного издания, зависящая от поставленной цели: способствовать потеплению или охлаждению на линии Варшава-Москва.

— Многое говорит о том, что мы беседуем в период заметного улучшения отношений между Россией и Польшей, что находит отражение и в печати, не так ли?

— Да, это так. Более того, после очищения наших отношений от идеологической нагрузки мы оказались перед лицом их нормализации. Россия становится для нас еще более интересной страной уже как равноправный партнер, как емкий и потенциальный рынок, в конце концов, — как доброжелательный сосед. После великого перелома 1989 года, когда поляки захлебнулись неожиданной свободой, необходимо было время, чтобы отреагировать на избавление от политической зависимости. Теперь все это перебродило, и пришла пора строить партнерские отношения. К чему, собственно, и призывает большинство СМИ.

— Вы считаете, что для этого есть все основания?

— Безусловно. Видите ли, минувшее десятилетие имело для наших стран огромное значение — распространяться об этом излишне. Объединяющим началом было то, что в этот период Польша и Россия вступили в новый этап своего развития: наша страна — сразу же после июньских парламентских выборов 1989 года, Россия — после распада СССР в декабре 1991 года. Хотя надо заметить, что перестройка и гласность Горбачева уже во второй половине 80-х годов создали благоприятную почву и соответствующий климат для демократических преобразований. Но не надо упускать из виду, что и делило нас тогда значительно больше, особенно недавнее прошлое, которое выстроило стену неприязни, предубеждений и взаимных претензий. Сегодня же публикациям о России благоприятствует не только географическая близость, но и — прежде всего — новый тип взаимоотношений, лишенных, как я уже говорил, политической зависимости. А потом нельзя забывать, что значительно расширился диапазон свободы высказываний польских журналистов — ликвидирована цензура, которая была на страже модели исключительно позитивного освещения польско-российских отношений.

— Кто, по вашему мнению, наиболее причастен к созданию образа России в польских СМИ?

— Прежде всего это периодические издания, формирующие общественное мнение и распространяемые во всей Польше, среди которых ежедневные газеты «Жечпосполита», «Газета выборча», «Жиче», «Трибуна», а также еженедельники «Политика», «Впрост» и сравнительно недавно появившаяся польская версия «Ньюсуика». Конечно же, не сторонятся российской тематики радио и телевидение. Есть довольно узкий круг польских журналистов, глубоко разбирающихся в российских проблемах и много о них пишущих. В него я бы включил собкоров в Москве, таких профессионалов, как Славомир Поповский («Жечпосполита»), Вацлав Радзивинович («Газета выборча»), Кристина Курчаб-Редлих (телевидение «Польсат» и периодика), Виктор Батер (ТВН и радио)... Редакции охотно привлекают к сотрудничеству и авторитетных авторов «со стороны». Очень часто с компетентными и достоверными материалами о России на страницах печати выступают профессор Ежи Помяновский, дипломат Здислав Рачинский, литературовед Гжегож Пшебинда. Как правило, публикации этих авторов полемически заострены и часто начинают обширную дискуссию. Как, например, статья в «Жечпосполитой» руководителя Центра международных отношений Януша Рейтера «Новая карта мира» с весьма красноречивым подзаголовком: «Европа, в которую возвращается Россия, должна быть иной, чем та, которую покинул СССР». Понятно, что на этом примере российская тема выходит за рамки двусторонних отношений или регионального значения, а приобретает глобальный характер. Ведь Россия по-прежнему является великой страной с огромными политическими и экономическими возможностями.

— На какие российские события последнего десятилетия особенно реагировали польские СМИ?

— Извержение посвященных России публикаций происходило в те моменты, которые были решающими и для нее самой. Такие, как «расстрел» российского парламента осенью 1993 года, первая и вторая чеченские кампании, президентские и парламентские выборы, экономический кризис августа 1998 года, отставка Бориса Ельцина в новогоднюю ночь 2000 года. Особое внимание польских СМИ приковал визит Владимира Путина в Варшаву и Познань в январе этого года — ведь российского президента не было в Польше более восьми лет.

— И все-таки это скорее случаи исключительные. Очевидно, есть темы, если не вечные, то во всяком случае вызывающие наибольшую заинтересованность?



— К счастью, материалы на российскую тему начинают избавляться от налета сенсационности. Когда-то читателя закармливали российскими проблемами. Может быть, отчасти для того, чтобы на неблагополучном фоне соседа иначе выглядели свои огрехи. И много было именно таких текстов: о хронической задержке заработной платы, о низком уровне жизни, о росте преступности. Короче говоря, приоритет был отдан негативным явлениям. Конечно, эти материалы были в меру объективны, но тем не менее они давали довольно односторонний образ России. Теперь же этот образ становится полным и объемным, многовекторным и полнокровным. Это уже Россия, которая окрашена в разные цвета. Прошло время скоропалительных оценок, когда «салонные эксперты», как я их называл, создавали представление о России, глядя из окна разогнавшегося лимузина по дороге из аэропорта «Шереметьево» в отель в центре Москвы.

— К тому же Москва — это еще далеко не вся Россия...

— Вот именно. Я интересуюсь Россией почти двадцать лет и могу сказать, что даже для поляков, которые потенциально знают эту страну лучше других народов, она таит в себе еще много неожиданностей и загадок. И наши корреспонденты — хвала им за это — перестали показывать Россию и ее проблемы только через призму мегаполисов — Москвы или Санкт-Петербурга. Все больше поднимается экономических тем, посвященных локальным и региональным проблемам. В том числе и в глубинке. Особенно много в последнее время пишется о Калининградской области, которая в скором времени окажется окруженной странами-членами ЕС. В складывающейся ситуации важно за трениями вокруг виз и транспортных «коридоров» не упустить из виду наши приоритеты. Ведь через этот анклав идет четверть польского экспорта в Россию. Польша рассчитывает на большие возможности экономического сотрудничества и бизнеса. Дело это не шуточное, принимая во внимание соседство Калининграда с отягощенным безработицей Варминско-Мазурским воеводством, которое надеется на новые рабочие места и дополнительные инвестиции. И радует, что в нашей печати появляется все больше статей, в которых Россия, демонстрирующая рост производства, представляется надежным партнером.

— Вы не заметили, что в таких материалах стало меньше эмоций?

— На происходящее в России мы долго смотрели из тени прошлого, прежде всего Катыни, как будто других проблем не было вовсе. Есть и российские фобии по отношению к Польше. Во время одной из моих поездок в Москву я смотрел по РТР передачу, посвященную Кракову, тому, как поступили с памятником маршалу Коневу, и вообще отношению к памяти. Это был очень эмоциональный репортаж, в котором подчеркивалось, что в Польше напрочь забыли о Евгении Березняке, фактически спасшем город от уничтожения. Так что эмоций хватает по обе стороны. Но сейчас это «поле боя» действительно затихает, а на страницах польской печати появляется все больше холодного рационализма и размышлений о будущем.

— Однако посмотрите, что пишет польский «Ньюсуик»: «В польском сознании Россия — это прежде всего страна Путина, «русской мафии» и чеченской войны, и уж совсем не место, где бьет ключом культура и создается искусство».

— Это, к сожалению, отзвук девяностых годов, когда СМИ концентрировались на российской «чернухе»: в подробностях описывалось покушение с бронебойным оружием на вице-мэра Санкт-Петербурга, нападение на издателя прессы, убийство банкира на пороге собственного дома... Я понимаю, что Россия этим тоже живет, что это на самом деле так оно и есть, но жизнь состоит не только из этого. К слову сказать, я сам переживаю оттого, что культурный обмен между нашими странами резко ограничен. От этого потеряли обе страны. Помню небывалый интерес в Москве к польскому кино, очереди за билетами на фильмы Юлиуша Махульского. И такие же очереди в Варшаве на российский балет, спектакли прославленных московских театров. Но это возвращается. В июне очередное турне по Польше совершил Театр балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга: аншлаг на его спектаклях был во всех городах — Варшаве, Лодзи, Познани, Кельце, Сопоте...

— Не слишком ли часто над нами довлеют стереотипы? Взять хотя бы образ Путина, который был поначалу премьером, а потом стал президентом. Польские СМИ не упускали случая представить его в тоге КГБ. Однако деятельность российского президента изменила и отношение к нему. Упомянутый вами Славомир Поповский как-то вдруг сказал мне: «А знаешь, я буду писать «Поправки к портрету Путина»». И написал.



— Подобных стереотипов множество. С Путиным — очень хороший пример. Но вы же знаете, у нас всегда было неблагосклонное отношение к спецслужбам. Не все знают специфику России, где много людей, интеллигентных и хорошо образованных, сознательно шли в «органы», которые были отличием и в определенном смысле считались элитарным учреждением. У нас же работа в «беспеке» не сочеталась с достоинством честного человека. Отсюда стереотип: человек «оттуда» в лучшем случае — чинуша, в худшем — полицай, орудующий палкой и допрашивающий при свете яркой лампы. В данном случае выходец из КГБ Путин демонстрирует решительность действий, широкий кругозор, эрудицию и умение находить контакт с каждым — качества, которым может позавидовать любой политик.

— Я заметил, что польские СМИ охотно предоставляют свои страницы известным российским авторам.

— Очень часто используются материалы Центра исследования общественного мнения, заключения его руководителя Юрия Левады, который пользуется у нас большим авторитетом. Чаще стали приглашаться российские журналисты — «Газета выборча» даже выделила для них специальную колонку «Из России о России».

— Мне кажется, что и освещение чеченской проблемы претерпело изменения.

— Несомненно. Особенно после 11 сентября прошлого года. Это уже не устоявшаяся формула, согласно которой Чечня — жертва, а Россия — жестокий агрессор. Оценки стали более трезвыми. На чеченцев теперь смотрят также под углом исламского экстремизма. Трагедия в Буденновске, например, воспринимается сегодня уже совсем иначе. Мы-то знаем, что невинных людей убивают только террористы.

— Вам не кажется, что кочующий в газетах начала 90-х призыв «сделать Польшу мостом между Востоком и Западом» был заранее обречен на неудачу? Не считаете ли вы более перспективными сегодняшние добрососедские и партнерские отношения?

— По-моему, теория «страны-моста» довольно неубедительна. Может быть, в самом начале перемен, когда Запад с опасениями прощупывал Восточную Европу, а Россия была страной большого политического и экономического риска, поляки, знающие своего восточного соседа, его язык, обычаи и традиции, могли быть связующим звеном. Что, впрочем, наблюдается сейчас — в России много польских менеджеров, работающих для западных работодателей. Сегодня же Россия, обладающая огромным потенциалом опытных и хорошо образованных граждан, вполне может обходиться и без посредников. Польшу должно заботить создание условий для двусторонних отношений со странами-соседями — без идеологических и политических издержек, а также чрезмерной оглядки на прошлое. Конечно же, я не говорю, что надо все перечеркнуть. Народ не должен забывать свою историю. Тем не менее, битвы за прошлое должны стихнуть.

— Мои западные коллеги говорят, что им в Польше работать уже неинтересно. Не уменьшится ли интерес к России при улучшении наших отношений, нормализации положения в наших странах,?

— Вот уж не думаю. То, что Польша и Россия для некоторых западных журналистов становятся скучными странами, в которых уже не может произойти ничего радикального, свидетельствует только о стабильности. Наши культурные и исторические традиции не изменят взаимного интереса. Жизнь складывается не только из экономики и торговли, но и — в гораздо большей степени — из нормальных межчеловеческих контактов. Я уверен, что общение с языком Пушкина, богатой культурой и всем, что нас в России изумляет и восхищает, будет интересовать людей больше, чем то, чего мы больше экспортируем — джема или картошки. Жизнь сама регулирует межчеловеческие отношения, поэтому рано или поздно все, что искусственно, будет исключено.

Беседу вел Валерий МАСТЕРОВ,
собственный корреспондент газеты
«Московские новости» в Варшаве
— специально для «Новой Польши»

Марек Карпинский

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БЕРДЯЕВУ

Богдан Цивинский на страницах газеты «Жечпосполита» так писал о нашем месте в объединяющейся Европе и о вытекающих из него наших задачах: «Во-первых, география, но прежде всего исторический опыт ставят нас на восточном рубеже Запада. В глазах православия мы почти отступники от той культуры, перешедшие на сторону Запада. Зато среди западных стран мы, пожалуй, больше всех знаем о православии. Отсюда наша специфическая европейская задача: активно и доброжелательно, представляя достоинства, а не недостатки Запада, служить на пограничье культур. Это служение может облегчить жизнь людям и обществам, впутавшимся в перерастающий их исторический конфликт, а нам самим принести укрепление нашей всегда ненадежной исторической безопасности». Таким образом, автор видит роль Польши в том, чтобы быть толмачом, переводящим Запад Востоку и Восток Западу. Справляемся ли мы с этой задачей, несем ли это служение достойно и ответственно? Или все-таки, как считают итальянцы, traditore traduttore [переводчик — переносчик, досл. предатель], и такой перевод между традициями, культурами и образами мыслей невозможен? Пожалуй, к этому все-таки стоит стремиться, стоит потрудиться. До войны такой труд совершали Мариан Здеховский и Ян Кухажевский. После войны творчеством Достоевского занимались такие крупные исследователи, как Станислав Цат-Мацкевич и Рышард Пшибыльский. Заслуживают внимания многочисленные труды Анджея Валицкого или «Философия в тени православия. Русские религиозные мыслители XIX и XX века» Виктории Кшемень. В эмиграции эту материю затрагивали такие специалисты, как Михал Геллер и Густав Херлинг-Грудзинский. Компания достойная, но недостаточная. Поэтому радует появление книги Марека Стычинского «Любовь к прошлому, или Философия последних вопросов. Работы по философии Николая Бердяева». Эта книга знакомит не только с личностью и творчеством русского философа, но и с «русским складом ума» (как называется одна из глав книги).



Николай Бердяев

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын писал: «Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили (1922 г.) на ночной допрос к Дзержинскому, там и Каменев сидел (значит тоже не чуждался идеологической борьбы посредством ЧК). Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твердо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти — и не только признали его бесполезным для суда, но — освободили». Он не только вышел за стены Лубянки, но и был выслан из отечества мирового пролетариата в свободный мир. С 1922 г. Бердяев ел горький хлеб эмигранта. Его философско-религиозное творчество отселе оставалось в Росси неизвестным. В Польше оно тоже не находило благодатной почвы.

В 1927 г. Бердяев выступил в Варшаве на съезде польских философов с докладом «Метафизическая проблема свободы». Доклад был встречен прохладно. Польская философия, в которой господствовала львовско-варшавская аналитическая школа, не интересовалась метафизикой, эсхатологией или христологическими социальными концепциями. Оппонентом по докладу выступил Генрик Эльзенберг. Он отмежевался от взглядов русского философа, утверждая, что «принять вышеприведенные суждения следовало бы, предварительно согласившись с мистическими элементами философии докладчика, иными словами, их нельзя обсуждать без предшествующего акта веры». Сам Бердяев признавал, что русскую философию характеризует антирационализм.



Дело в том, что Бердяев был не столько философом в западном смысле слова, сколько религиозным и социальным мыслителем. Он занимался историософией, задаваясь вопросом, к чему устремлена история, к чему стремится мир. Столкнувшись со злом в таком размахе, каким была большевистская революция, он неизбежно задал себе вопрос, сотворено ли зло в мире Богом. Стычинский так излагает его взгляды:

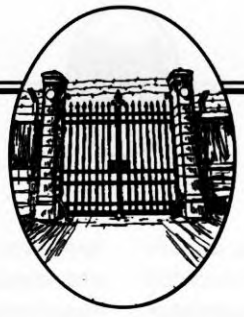
«История Нового времени закончилась не где-нибудь, а в России, не укорененной в культуре, не уважающей ни собственности, ни права, ни ценности личности, а большевизм создал новую эпоху — апокалиптический пролог к великому всемирному преображению. Вспомним: «...времени уже не будет», историзм должен уступить место «историческому». А начался этот процесс в стране, где христианство переживает свой героический период. Однако на этот раз есть надежда, что христианская культура не превратится в объекты-памятники и не потерпит поражение. «Огромные силы русского народа», пробужденные революцией, пассивная религиозность православия, которое, в отличие от западного христианства, было враждебно миру, не тратило сил на включение в секуляризованную культуру, сохраняя их для духовного преображения (...), отсутствие культурных традиций — все эти факторы приводят к тому, что ложь коммунизма преобразится в истину заново одушевленного христианства. Ленин, этот типичный русский с примесью татарина, и Сталин выполняют, можно сказать, ту же роль, что Нерон и Диоклетиан по отношению к первым христианам. Отсюда вытекает много раз подчеркивавшийся Бердяевым постулат: с коммунизмом нельзя бороться ни политическими, ни, тем более, военными средствами. Освобождение от него, обогащенное его правдой, выпадет на долю самого русского народа, в христианском духе обновленного страданиями и простирающего Второе пришествие на весь мир. Советское государство, пусть отвратительное, выполняет роль акушерки, не только позволяющей христианству открыться к эсхатологическому аспекту, экзистенциальному времени, но и препятствующей русской религиозности скатиться в ханжескую «буржуазность», в приверженность «миру сему». Еще раз окажется: ex Oriente lux... Так можно ли удивляться, что русская эмиграция видела в Бердяеве, по точному определению Полторацкого, «советского патриота без паспорта»».

Польское ухо тут же выловит в вышеприведенном тексте знакомые нотки. Это известные каждому польскому школьнику мессианские мотивы — такие, как в «Дзядах» Мицкевича или «Перед рассветом» Красинского. Это более широкая проблема — вопрос о том, как примирить наличие зла, с одной стороны, и присутствие Бога в истории — с другой. Может ли Бог терпеть зло, не включил ли Он его в Промысел сотворения и истории, или же Сам Предвечный (как считают пелагиане) промыслил и сотворил зло? Поляки, потрясенные утратой государственности, почувствовали себя задетыми в своей религиозности. Входило ли крушение Польши в замыслы Провидения Божия, а если да, то какую задачу это преследовало? Какую? — самую важную: Второго пришествия и искупления. «Польша — Христос народов», — говорил Мицкевич. «Россия — Христос народов», — эхом откликался Бердяев. Море крови, пролитой на русскую землю, не могло быть напрасным. Эта кровь носит освящающий характер и входит в планы Божьего порядка как жертва и искупление. Христос, Сын человеческий, позволил Себя распять — теперь наступило время мартирологии человеческих масс.

С этим связана и бердяевская концепция Богочеловека, ибо каждая личность, принимающая участие в процессе соборного искупления (свершаемого народом) приобретает атрибуты Божественного. Отсюда один шаг до освящения человеческой личности, до превращения ее в фундамент современной антропологии. Однако у Бердяева это было элементом цельной философии, как и у его коллег, близких к журналу Эммануэля Мунье «Эспри». Эти персоналисты, исполненные уважения к человеческой личности, оказали глубокое влияние на польский католицизм, выводящийся из кружка «Вербум» и «Тыгодника повшехного», а также на социальную философию Иоанна Павла II. «Дух дышит, где хочет» — в этом мы все больше убеждаемся, наблюдая влияние православного философа на Папу Римского, а польских эмигрантов — на образ мыслей русских эмигрантов. Что же, хочешь не хочешь, мы становимся глобальной деревней и думаем схоже. И лучше, чтобы мы думали не только о вкусе гамбургеров в «Макдональдсе», но и о достижениях философской мысли.

Когда в 1948 г. Николай Бердяев умирал в нищете под Парижем, в другом предместье Парижа поляки, перебравшиеся сюда из Рима, начали издавать журнал «Культура». Ему предстояло изменить мышление поляков о России и русских делах.

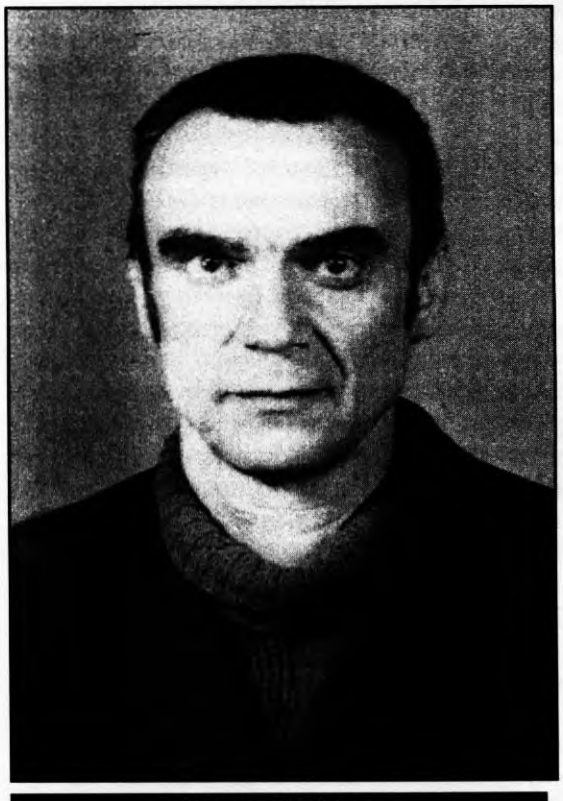
Марек Стычинский, ***«Любовь к прошлому, или Философия последних вопросов. Работы по философии Николая Бердяева»***, *Лодзь, 2001. (Идеи в России. Междисциплинарная группа советологических исследований Лодзинского университета). — На польск. яз.*



Гжегож Пшебинда

МЕСТО И ВРЕМЯ МИХАИЛА ХЕЙФЕЦА

Между Краковом, Парижем и Мордовией



Михаил Хейфец

Взяв в руки изданный в 2000 году в Харькове местной правозащитной группой первый том «Избранного» Михаила Рувимовича Хейфеца, озаглавленный «Место и время. Русское поле», я не могу не вспомнить студенческий Краков в трудное, но исполненное польской надежды лето Господне 1980. Будучи тогда молодым адептом русистики Ягеллонского университета, я услышал однажды об одном замечательном еврейско-русском литературоведе, отправленном в отдаленные места СССР единственно за то, что он, не испугавшись «железных законов истории», сочинил предисловие к самиздатскому собранию стихов Бродского «Иосиф Бродский и наше поколение»... Вполне благонадежным источником этой информации был профессор Анджей Дравич, любитель и большой знаток русской культуры, регулярно приезжавший из Варшавы в Краков, чтобы здесь, в уютных и битком набитых аудиториях Ягеллонского университета, рассказывать студентам о Солженицыне и Сахарове, о Максимове и Синявском, о Бродском и Горбаневской, о Буковском, Шаламове, Владимове, Войновиче, Ерофееве, о Булгакове в полном объеме и о сотне других писателей современной России — не только, конечно, подпольной... Вскоре Дравич привез с собой, чтобы надолго передать в жадные руки студентов, «Вольную русскую литературу» Юрия Мальцева, изданную франкфуртским «Посевом» в 1976 году, откуда можно было узнать уже напрямую, что Михаил Хейфец, он же «еврейско-русский литературовед», арестованный в 1974 году вместе с Владимиром Марамзиным за самиздатскую публикацию Бродского, был потом приговорен к шести годам лагерей и ссылок...[1] Мы, польские студенты русского отделения филфака, еще никак не могли знать о том, что автор инкриминируемого вступления к сборнику поэзии Бродского как раз в это время пишет в лагере замечательную «книгу памяти», этакий историософский репортаж из ГУЛАГа, который, будучи передан па волю, вскоре будет читаться в свободном русском Париже.

Континент Европа

Во «Времени и месте» я нахожу еще один фрагмент, который прямо напоминает мне о первых шагах польской «вольной русистики» начала 80-х годов — это страницы о Борисе Пэн-

[1] Тогда мы еще не имели возможности читать ни «Хроники текущих событий», ни «Хроники защиты прав в СССР», ни изданного в Нью-Йорке в 1976 г. сборника «Литературные дела КГБ», где о деле Хейфеца говорилось более детально.

соне (да, да, мы уже тогда отлично знали, что это один из героев «самолетного дела» 1970 года!) и Вячеславе Чорновиле — двух узниках советских лагерей, еврейском и украинском. Их «Диалог за колючей проволокой» был напечатан в 1976 году Владимиром Максимовым в шестом номере «Континента», а польский читатель-эмигрант мог познакомиться с содержанием этого «диалога» уже в 1979 году, поскольку именно тогда был издан в Лондоне толстый сборник переводов на польский язык нескольких наиболее значительных статей из «Континента» за первые четыре года его существования. В написанной специально для этого издания передовой статье, озаглавленной «Континент демократии», В.Е.Максимов выражал смелую надежду, что совместный «голос России и Восточной Европы» будет звучать в западном мире все громче и громче, так что вскоре мир этот увидит рождение новой Европы как «континента демократической цивилизации»... Тогда, в январе 1979 года, подобное высказывание могло толковаться как доказательство прекраснодушных иллюзий русского интеллигента в изгнании, но сегодня, в 2002 году, мы видим, что деятельность людей, подобных Максимову и другим редакторам-авторам «Континента», подготовила почву для демократической «большой Европы», включающей в себя не только Чехию, Польшу и Литву, но и Россию, и Украину, к которым в отнюдь не далеком будущем должна присоединиться и Белоруссия (без Лукашенко).

Свою лепту в разработку идеи «большей Европы», грандиозного замысла, который претворяется в жизнь на наших глазах, внес вышеупомянутый Анджей Дравич, он же составитель и переводчик всех статей в польском номере «Континента». В начале этого сборника напечатана декларация «Мера ответственности», подписанная 21 августа 1975 года группой русских писателей в изгнании: И.Бродским, А.Волконским, А.Галичем, Н.Коржавиным, В.Максимовым, В.Некрасовым и А.Синявским. Эти люди, сами не бывшие ни за что в ответе, приносили полякам глубокие извинения за советское участие в пакте Риббентроп—Молотов, за убийство безвинных людей в Катыни, за вероломную измену варшавскому восстанию 1944 года, за попытку интервенции Советской Армии в Польше в 1956-м... Однако речь идет не только о русско-польском прошлом, не всегда столь же мрачном, но и о совместном будущем, которое хотя бы отчасти рисуется в оптимистических тонах: «Полностью осознавая свою ответственность за прошлое, мы сегодня все же с гордостью вспоминаем, что на протяжении всей, чуть ли не двухвековой борьбы Польши за свою свободу, лучшие люди России — от Герцена до Толстого — всегда были на ее стороне. (...) Мы глубоко убеждены, что в общей борьбе против тоталитарного насилия и разрушительной лжи между нами сложится совершенно новый тип взаимоотношений, который навсегда исключит какую-либо возможность повторения ошибок и преступлений прошлого. И это для нас не слова, а кредо и принцип». К этому хору присоединился тогда и Андрей Сахаров: «Я глубоко переживаю это событие 38-летней давности — третий [все-таки четвертый, после трех екатерининских — *Г. П.*] раздел Польши. Я надеюсь, что память об этом для двух наших народов будет основой общей ответственности за судьбу наших народов и всего человечества».

В польском «Континенте», кроме упомянутого уже «Диалога за колючей проволокой» Чорновила и Пэнсона, были еще и тексты многих других авторов: «Литературный процесс в России» А.Синявского, «Опыт поэтической биографии» Н.Коржавина, ««Эвклидовский» и «неэвклидовский» разум в творчестве Достоевского» Г.Померанца, «Язык искусства при тоталитаризме» И.Голомштока, «Национальный вопрос в СССР» М.Агурского, «К сотой годовщине Эмского указа» И.Качуровского, «Свидание в лагере» Гузели Амальрик, «Происшествие в «Метрополе»» В.Войновича, «Записки зеваки» В.Некрасова, «Жратва» Алексея Лосева, «Закулисная история пакта Риббентроп—Молотов» А.Авторханова, «Чего мы ждем от эмиграции?» Т.Женклиса. А мы, польские студенты, читали, конечно, прежде всего Авторханова, затем Голомштока, который описал один и тот же тоталитарный язык искусства в советской России, гитлеровской Германии, фашистской Италии и коммунистическом Китае... Потом мы еще немножко подтрунивали над криминальными похождениями Войновича в отеле «Метрополь», а кое-кто сумел даже использовать для своей дипломной работы мудрые рассуждения Померанца о «правде разума» и «истине веры» у Достоевского.

Воистину, в этом польском «континентальном томе» было действительно все — стоит еще и



сегодня взять в руки эту книгу, чтобы увидеть ее вневременность и жгучую актуальность для России, Польши, Украины и всей остальной Европы XXI столетия. Ведь в этой книге русские, еврейские, украинские и литовские мальчики рассуждают не только о вопросах вековечных — есть ли Бог, существует ли бессмертие? — но и о строго исторических проблемах: каково, например, было положение украинцев в Российской империи в XIX и в СССР в 20-30-е годы XX столетия и какими представлялись судьбы наций, в том числе евреев, украинцев и литовцев, в Советском Союзе второй половины XX века? Дравич, как видно уже из самой подборки текстов, старался напомнить польскому читателю, что царская Россия в такой же степени как и коммунистический СССР — державы многонациональные. Поэтому и рассуждать о них надо не только «по-русски», но и «по-украински», «по-литовски» и даже «по-еврейски»... Ведь не случайно же А.Синявский, недавний узник Мордовии, в своем эссе «Могу подтвердить», опубликованным в «Континенте» в виде вступления к упомянутому выше лагерному диалогу Пэнсона и Чорновила, заметил: «И если этот говорящий сам за себя своей правдивостью опыт-протокол еще нуждается в доказательствах, я, в качестве очевидца, могу удостоверить предлагаемое свидетельство Чорновила, Пэнсона и других участников-летописцев современного лагерного режима и быта. (...) В материалах, присланных сегодня из Мордовского лагеря, особенно хочется обратить внимание читателей на действительную, а не вымышленную «дружбу народов Советского Союза», которая там, в лагере, налицо».

Евреи, любящие Россию, украинцы и армяне...

Хейфец написал свое «Время и место» в лагере строгого режима, будучи кочегаром ЖХ 385/19, прямо под наблюдением надзирателей и стукачей, в «цейтноте» и в постоянной тревоге за свои дорогие записки и представленных в них людей. Наконец из разбросанных материалов он сложил целую книгу, приготовил плату за ее переправку через лагерный забор и отправил на волю. И нет ничего удивительного в том, что в его работе так много автобиографичности: «как я сочинял и прятал, а иногда и бесповоротно терял свои лагерные записи»... — сегодня, быть может, уже не столь занимательной в мире, который быстро забывает «как это было»... Именно в этом плане и во всех описаниях будничной лагерной жизни книга Хейфеца является своего рода физиологическим очерком, то есть «жанром идеальным», о котором мечтали с середины XIX столетия русские «революционные демократы», никак не предвидевшие, что этакие очерки лет через сто будут писаться на их родине в местах не столь отдаленных, за прочной колючей проволокой... В этой автобиографической и повседневной сфере Хейфец чаще всего вполне искренен — не всегда, однако, поскольку, ценя жизнь больше, чем литературу, он иногда не хочет плохо отзываться на бумаге о своих сотоварищах по койке, даже если они мерзавцы...

Однако не это важно в «Месте и времени», в котором автор не захотел «привлекать читателя экзотикой лагерной биографии». О самом существенном Хейфец пишет вот что: «И я решил сделать эти «заметки» — «еврейскими». Читателю, живущему в мире не только иных цен, но иных ценностей, может показаться интересным, как именно его собственные, иногда, конечно, истасканные и привычные до оскомины проблемы смотрятся отсюда, из тюрем и лагерей КГБ. Отсюда, где собраны националисты многих народов, отсюда, где рядом с дерзновенными сионистами спят и работают эсэсовцы и работники гехаймефельдполицай, где интернационализм становится честным, лишь служа национальному делу, а национализм верен своим принципам лишь в бескорыстной интернациональной борьбе со злом. Отсюда, где вопреки заблуждениям и страстям, если мы честны, понимаем в конце концов, что мы — дети своего народа и что все-таки все народы Земли — одна семья. Во всяком случае, так я ощущаю жизнь — здесь. Вот почему «еврейские заметки», заметки о народе и о народах земли».

«Я люблю Россию» — пишет в другом месте автор «еврейских заметок», — хотя он, конечно, понимает, «что это неприятно прозвучит в среде израильтян». «Но я ведь заранее обещал: буду говорить правду, как ее понимаю, приятна она или нет, выгодна или нет. Иначе нет смысла писать. Как поется: «Каждый пишет, как он дышит»». Кажется, что любящий Россию и справедливо ненавидящий коммунистический СССР еврей Михаил Хейфец, пребывающий в советском лагере второй половины семидесятых годов XX века,



сумел найти «точку опоры», благодаря которой, с одной стороны, он мог словом и делом защищать конкретных украинцев, армян, эстонцев, литовцев, латышей, боровшихся за независимость своих порабощенных наций, а с другой — был в полном праве высказать ряд очень глубоких и интересных мнений о психологии («душе»), культуре, истории и сегодняшнем дне русского, еврейского и украинского народов.

Вместе с другими Хейфец объявлял солидарную голодовку с Василем Стусом, украинским поэтом и политзаключенным, потом писал письма лагерным начальникам, когда тот же Стус — который вскоре умрет в заключении от острой язвы желудка — был отправлен в ШИЗО... Причисленный сотоварищами по лагерю к «русским демократам», Хейфец сдружился с самой мощной, как он пишет, лагерной группировкой — украинскими националистами: «... к украинцам и украинскому движению я и на воле испытывал симпатию и интерес. В чем причина обособления украинцев в моем сознании? Может быть, в духе противоречия: сейчас, когда традиционный «жид» всё-таки явно оттеснен от кормила российского правления, масса шовинистического мещанства стала переносить национальную неприязнь на «хохла», который, дескать, засел на главных должностях в Кремле. Я не раз это слышал своими ушами. Ну и вот, чувство противоречия мещанству заставляло с особым вниманием и сочувствием относиться к украинцам. Может быть, сыграли свою роль мои литературные интересы, связанные с народничеством. Я знаю, что по территории Украина равна Франции, по населению равна Франции, но разве можно сравнить духовный вклад Франции и Украины в мировую культуру? Несоизмеримые величины... Но как человек, изучавший 70-80 годы XIX века истории России, я знал и другое, знал как от природы талантлив, самобытен, ярок этот народ. Следовательно, неравенство культур проистекало не от физиологической природы данной нации, а от внешних условий, от приниженного положения ее на протяжении веков».Таким образом, полемизируя с многочисленными «советскими мещанами», считавшими Брежнева «хохлом при кремлевской кормушке», Хейфец заодно напоминает, что украинская культура всегда развивалась в России в условиях несвободы: ее очередные «возрождения» были систематически «расстреливаемы», сперва царским, а затем советским режимами. Эмский указ 18 мая 1876 г., в котором император Александр II запретил «украинское слово» во вверенных ему владениях, был своего рода вступлением к трагической судьбе украинской культуры и ее творцов в 20-30-е годы XX столетия в СССР («расстрелянное возрождение»).

Однако Хейфец, «советский еврей», любящий Россию и симпатизирующий «самостийной Украине», хорошо помнит кровавые страницы совместной истории этих трех народов («кровь не вода, и память о пролитой крови не исчезает — украинцы знают это лучше других»). Поэтому он напоминает об антисемитизме и еврейских погромах на Украине, начавшихся со «славных времен» гетмана Хмельницкого и продолжившихся в XIX и первой четверти XX столетия. При этом он формулирует ряд небезынтересных замечаний об украинской «душе» и истории последних трехсот лет и оригинально объясняет, почему полюбил Украину: «По-моему, обычно евреям мешает сочувственно воспринимать украинское движение память о прошлом: зверские погромы Хмельницкого и Гонты, погромы в Харькове и Киеве в XIX веке, погромы петлюровцев в Житомире и Шепетовке и т.п. (...) любые оправдания (например, ссылкой на осквернение церквей ростовщиками как причину истребления всего еврейского населения города) только мешают истине. Мне истории кровавые страницы не мешали полюбить Украину по другой, по-моему, более объективной причине. Я всегда был убежден, что Богдан Хмельницкий, великий полководец, великая сабля Украины, на самом деле не любил свою родину. Уже в лагере мне довелось прочитать замечательный документ «Летопись самовидца» (...) о Хмельниччине и последующих годах. В нем, наконец, я нашел ответ на давно интересовавший меня вопрос: как Хмельницкий расплачивался с Крымской ордой за союз и военную помощь в борьбе против польского короля. Он, оказывается, уплатил Орде, отдав в ясырь, то есть в рабство,

в татарский полон, тридцать украинских городов. Меня поразило, с какой легкостью великолепные, героические, мужественные «ватаги» Украины приводили на свою землю иноземцев и грабили ее мужиков-«гречкосеев» вместе с кочевыми грабителями: Серко призывал калмыков, Дорошенко — турок (...). Первой жертвой их сабли становился жид, но второй — свой брат, презренный мужик-гречкосей. И поэтому много ли надо делить потомкам жертв этой сабли?» [подчеркнуто мною — *Г. П.*].

Много ли найдется лагерников подобных Хейфецу, которые в состоянии были так проницательно рассуждать в «малой зоне» о многосложной истории народов Восточной Европы, вдобавок па основании достоверных исторических текстов, прочитанных уже за колючей проволокой? К таким ценным источникам принадлежит «Литопись самовидця», хотя она возникла не во времена Хмельницкого, как следует из ее заглавия, а на рубеже XVII и XVIII столетий. Сами украинцы пишут о ней, как о «визначній пам'ятці української історичної прози»; «У творі натрапляємо і на негативні судження про Хмельницького, коли йдеться про його зарозумілість і гонор. Засуджується також союз із Кримським ханством» («Українська література у портретах і довідках», Київ, «Либідь» 2000, с. 178-179).

А кто еще, кроме Хейфеца, филолога и кочегара, мог лучше рассказать о Василе Стусе, великом поэте Украины, о его лирической, но бескомпромиссной личности, о солидарности с ним, проявляемой на каждом шагу товарищами-зеками разных наций? «КГБ только что отобрало — на этапе с 17-й на 19-ю зону — у В. Стуса около 600 стихотворений: 300 оригинальных и 300 переводов из Гёте, Рильке и других. Я практически не знаю украинской поэзии, но здешние украинцы утверждают, что равного Стусу поэта в современной украинской литературе нет. Поверить в это легко: Василь (...) — поэт милостью Божьей, поэт, не командующий своей музой, но — орудие своего дара. Таких людей целое человечество обычно насчитывает единицами.

Прекрасно образованный, безупречно честный, безумно отважный, он начисто не способен к компромиссам (пусть разумным) с лагерным и тем более кагебистским начальством. Он неразумен, каким, по-моему, должен быть, большой поэт. Он неуверен в себе, но тем не менее всегда идет напролом, чем бы это ему не угрожало — такова его натура, иначе, думаю, он не смог бы писать так, как пишет. Василь — вовсе не поли-тический поэт по своей «строчечной сути», но он болезненно честный человек в этом мире и поэтому не мог в конце концов не оказаться в лагере. (...) За пять лет лагерной отсидки его талант возмужал — лучшее из созданного им написано здесь, в Мордовии. Легко представить любому, кто имеет детей, что он почувствовал, когда понял, что стихам грозит уничтожение. (...) это целая эпопея, со скандалами, карцерами, голодовками всего лагеря, с лишением свидания с женой и ответным отказом от гражданства, с ежедневными унизительными обысками поэта — нагишом, с приседаниями и заглядыванием надзирателя в анус, с отчаянными попытками лагеря спасти стихи, да и самого Василя (он к тому времени уже лишился на операционном столе двух третей желудка; получил «зековский желудок», как он шутил)».

Noblesse oblige... Итак, Хейфец — именно как еврей — писал также письмо прокурору Армянской ССР, защищая идею армянской независимости, за которую советская власть сажала за решетку представителей Независимой Объединенной Партии Армении (НОПА), встречаемых потом в Дубровлаге в Мордовии. Корней своей симпатии к свободной Армении он искал в библейском прошлом: «Уважаемый гражданин прокурор! Я — еврей. Евреи и армяне, как Вам известно, древнейшие народы Земли. Они объединены общностью судеб, в древности создали могучие царства, утратили их и были рассеяны по лицу Земли, никогда не теряя веру в воскресение своего независимого, гордого и славного государства. (...) Поэтому я всей душой желаю независимости Вашему народу. От своих армянских друзей я узнал, что членом НОПА может быть не только армянин, но любой человек, который разделяет цели этой партии. Настоящим заявлением сообщаю Вам, что с разрешения руководства НОПА я явля-юсь ассоциированным членом этой партии».

Эстонцы, литовцы и масоны

Автор не забыл и про эстонцев, тем более, что в лагере он встретил Сергея Солдатова, поклонника А.Швейцера, В.Соловьева и Э.Фромма, одного из руководителей Демократического движения Эстонии. В «Месте и времени» Хейфец приводит фрагменты из воспоминаний Солдатова о жизни Эстонии после прихода советской армии, а в «Русском поле» — после долгих разговоров со своим эстонским другом — он описывает его правозащитную деятельность до ареста и лагеря... Здесь упоминаются фамилии генерала Петра Григоренко, профессора Александра Болонкина, поэтессы Натальи Горбаневской...

Судьба Литвы отчасти обрисована в историях двух литовцев-каторжников: Пятраса Паулайтиса, одного из руководителей литовского сопротивления во время войны, получившего за это 35 лет советских лагерей, и Людаса Симутуиса, одного из самых мужественных деятелей-конспираторов послевоенного «Движения за свободу Литвы», приговоренного к высшей мере и помилованного потом 25-ю годами...

А голос России слышен, когда читатель знакомится с судьбой русского патриота Владимира Осипова, описанного с сочувствием в «Русском поле», хотя, конечно, мудрый Хейфец не мог пребывать на одном интеллектуальном уровне с человеком, убежденным, что «Власть и Авторитет окутаны непроницаемой Тайной» — масонской: «В сознании патриотов (я разговаривал с ними еще на воле) масоны стали ипостасью некоего темного Божества: они, кажется, могли все, они управляли миром, как Ростропович — виолончелью».

«Иного мира не будет»...

Эпиграфом к «Русскому полю» Хейфеца стал фрагмент из Антуана де Сент-Экзюпери: «Знать — это принимать то, что видишь. А чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. Это — суровая школа»... Я уверен, что Михаил Рувимович Хейфец, талантливый ученик суровой советско-лагерной школы 70-х годов минувшего столетия, живущий сегодня в государстве Израиль, смог бы подписаться под высказыванием Рышарда Капустинского, опубликованном в Польше в первое лето XXI столетия: «Сейчас важнее всего открыться миру, выйти из своего захолустья, так как мир становится все более глобальным. Чем больше мы будем изолироваться, тем хуже для нас. Современный патриотизм должен соседствовать с убеждением, что каждая отчизна является частью великого мирового отечества. Чем больше мы будем прони-каться духом открытости, чем больше будет у нас общего с гражданами других малых отчизн, тем патриотичнее мы будем, потому что сегодня можно существовать в мире исключительно благодаря другим. Если мы будем познавать и уважать ценности иных культур, то, в свою очередь, будут уважать и нашу самобытность. Такой мир будет миром для всех. Другого мира не будет...» А если, не дай Бог, «другой мир» будет — то он снова может стать концентрационным.

Войцех Скальмовский

«ПЕСНЬ О НОЧИ» КАРОЛЯ ШИМАНОВСКОГО



Рис. Дмитрий Шевчиков-Кисмелов

Кароль Шимановский (1882-1937), которого считают самым выдающимся после Шопена польским композитором, завершил свою Третью симфонию (соч. 27) летом 1916 г. в Тимошувке, наследственном имении на Украине. Симфония называется «Песнь о ночи»; текст ее вокальной части (для тенора или сопрано и смешанного хора) — это польский текст газели, короткого лирического стихотворения, сходного с сонетом, написанного персидским поэтом Джалаледдином Руми (1207-1273/74); она начинается словами «Не спи, гостеприимный друг, в эту ночь». В числе примерно трех половиной тысяч газелей этого поэта она входит в состав знаменитого сборника Руми «Диван Шамса Тебризи» и в «каноническом» тегеранском издании Форузанфарра значится под номером 296. Автор польского текста, поэт, драматург и прозаик-модернист Тадеуш Мицинский (1873-1918) не знал персидского языка и воспользовался старым немецким переводом Йозефа фон Хаммер-Пургсталя (1774-1856). Уже по этой причине текст Мицинского вообще трудно назвать «переводом», но экзотическая атмосфера и таинственная аура стихотворения так увлекли Шимановского, что текст стал решающим побудительным импульсом к сочинению симфонии, над которой композитор работал два года. Произведение занимает важное место в его творчестве: это первая крупная композиция, где в полной мере использована техника, которую отныне назовут «новым стилем Шимановского». Стиль этот характеризуется полным разрывом с тональностью и концентрацией внимания на необычных оркестровых эффектах. Можно сказать, что с Третьей симфонии начинается «настоящая» музыка Шимановского, свободная от чужих стилевых влияний.

Я востоковед, многие годы профессионально занимаюсь персидской поэзией, составляющей существенную часть так называемого суфизма (средневекового мистического течения в исламе, напоминающего теософию), а кроме того очень люблю музыку Шимановского. Меня заинтересовали обстоятельства, при которых возникло такое довольно удивительное персидско-польское «художественное сотрудничество». Факты, связанные с ним, характерны для раннего модернизма в восточной части Европы, и, может быть, этот очерк будет интересен читателям не только в Польше. Учитывая, что имя

Шимановского известно за границей, пожалуй, лишь меломанам, а имя Мицинского — лишь профессиональным славистам, начну ab ovo, с того, что коротко представлю обоих героев очерка. Исходя из исторической ситуации, следует сразу напомнить, что слово «польский» в интересующий нас период, т.е. в начале XX века, имело смысл только этнический и языковой: Польши как независимого государства тогда не было, и вновь она появилась на карте Европы лишь в 1918 году. В конце XVIII века польско-литовское королевство поделили соседние державы — Пруссия, Австрия и Россия, и аннексированные территории с тех пор считались частями этих государств. С административной точки зрения, жители этих территорий были подданными государств-захватчиков. Однако поляки были слишком многочисленны, чтобы их национальное самосознание и связанные с ним области культуры (язык, литература, искусство) удалось ликвидировать. Старые польские политические и культурные центры — формально «русская» Варшава и «австрийский» Краков — хоть и были низведены до статуса провинциальных городов империи, но сохранили свою культурно-созидательную роль: в них продолжали действовать польские издательства, журналы и школы. Главной движущей силой польской культурной жизни был патриотизм, особенно de rigueur [строгий, обязательный] среди сельской шляхты (к этому слою принадлежал Шимановский) и интеллигенции (из которой вышел Мицинский). Для людей этого типа польское самосознание было чем-то само собой разумеющимся и независимым от подданства.

Место рождения Кароля (6 октября 1882) — Тимошувка, семейное поместье Шимановских на Украине, примерно в 200 км к юго-востоку от Киева. Эта территория с 1773 г. принадлежала Российской империи, но многие землевладения там все еще оставались в руках поляков. В городах региона — Одессе, Киеве, Елисаветграде — тоже обитали многочисленные поляки, нередко потомки обедневшей шляхты, жившей в этих местах уже несколько поколений. Для этих людей Украина, хотя официально «русская», не была чужбиной, а польский язык и польские традиции в их среде сохранялись вполне органично. Имение в Тимошувке не было в этом смысле исключением: дом был полон старинной мебели и картин, библиотека постоянно пополнялась польскими книгами, доставляемыми из Варшавы, Львова и Кракова. В такой обстановке польское самосознание у молодых Шимановских (Кароля, его старшего брата и трех сестер — все они были необычайно одарены музыкально) было естественным и притом свободным от узкого национализма. Украина тех лет казалась людям, живущим там, извечной многонациональной территорией: кроме «русинов» [украинцев] там жили многочисленные поляки, русские, евреи и другие этнические группы.

Музыкальное образование Кароля Шимановского началось еще в родительском доме, где эта область искусства ревностно культивировалась и в котором нередко гостили друзья-музыканты (в том числе Артур Рубинштейн). Следующим этапом была учеба в частной музыкальной школе в соседнем Елисаветграде, где Кароль в 1900 г. окончил гимназию. Тогда же было опубликовано его первое серьезное сочинение (Девять прелюдий для ф-но, соч.1), отмеченное сильным влиянием Шопена и Скрябина, но тепло принятое в кругах профессионалов. Год спустя молодой музыкант уехал в Варшаву, где три года изучал композицию под руководством Зигмунта Носковского (1846-1909), а затем отправился в Берлин. Еще шесть лет он продолжал учиться, сочинял и путешествовал по Европе. Его произведения той поры выдают сильное влияние немецкого неоромантического стиля, особенно Рихарда Штрауса, и лишь по возвращении в Польшу в 1909 г. его музыка обрела более индивидуальную окраску. В этот период Шимановский заинтересовался восточной философией и литературой, которые были тогда модными в кругу «Молодой Польши» — польских модернистов. Плодом нового увлечения стали два цикла вокальных сочинений: «Любовные песни Гафиза» (соч. 4, 1911) и цикл (соч. 26, 1914), основанный на немецких переводах газелей персидского поэта, выполненных (по подстрочнику) австрийцем Гансом Бетге (1876-1946). Большинство этих сочинений еще носят неоромантический характер (влияние Шопена и Брамса), но пяти произведениям второго цикла уже присущи черты «нового стиля», который вскоре масштабно проявится в Третьей симфонии.

Роковой, как оказалось, 1914 год (начало I Мировой войны) был важным в жизни композитора. В феврале Шимановский посетил свой любимый горный курорт Закопане в Татрах, где встретил многих друзей, среди них и Тадеуша Мицинского, с которым был знаком еще со времен учебы в Варшаве и чье

творчество высоко ценил. Из Закопане Шимановский вместе с другим приятелем отправился через Сицилию во французские колонии в Северной Африке и провел там несколько месяцев. Этот первый непосредственный контакт с мусульманским миром произвел на него огромное впечатление и углубил его увлечение Востоком. Начало войны застигло композитора в Англии, откуда он спешно, хоть и не без трудностей, вернулся домой, в Тимошувку. Эта часть Украины находилась далеко от фронта, а поскольку Шимановский, который слегка прихрамывал из-за травмы, полученной в детстве, был освобожден от военной службы, то первые три года войны парадоксальным образом стали для него временем такой сосредоточенности и спокойствия, каких он позже никогда уже знал. Именно в этот идиллический период родилась и созрела его «Песнь о ночи» — вещь, исполнение которой длится примерно 25 минут, но требует большого симфонического оркестра, солиста и полносоставного хора. Очевидно, именно по этим техническим причинам первое исполнение «Песни», планировавшееся петербургским дирижером Александром Зилоти на осень 1916 г., было отложено, а затем и стало невозможным из-за революции (премьера состоялась лишь через пять лет в Лондоне). Чтобы читатель получил представление о том, что это за произведение, воспользуюсь фрагментом монографии Тадеуша А. Зелинского «Шимановский: Лирика и экстаз» (1997):

«Новизна стиля Третьей симфонии проявляется, помимо сферы экспрессии, прежде всего на уровне звучаний. Шимановский оказывается здесь мастером необычайно тонкой, изысканной оркестровой колористики, которая смелостью своей иной раз превосходит решения Равеля и Стравинского (...). Форма сочинения самостоятельна и далека от традиционных канонов. Это не типичная симфония из отдельных частей, а свободная вокально-оркестровая поэма. Однако в сочинении можно выделить три разные, хоть и не обозначенные в партитуре части; они разделены продолжительными паузами. Эти три индивидуально построенных звена выполняют различные функции по отношению к литературной теме, выраженной текстом Руми. Часть I, в которой использованы семь первых строк стихотворения (...), носит характер вступления — подготовки и приглашения участвовать в мистерии. Часть II, без текста (кроме оркестра выступает хор без слов), выполняет роль живого, контрастирующего со словами интермеццо. Финал, начинающийся со слов «Ах — как тихо спят другие...» (здесь использована основная часть текста), — это уже акт мистерии как таковой, содержащий музыкальную и экспрессивную кульминацию произведения».

Однако стоит прервать рассказ о Шимановском, чтобы уделить некоторое внимание автору польского текста его симфонии. Тадеуш Мицинский — важная, хотя и несколько спорная фигура польской литературы рубежа веков. Он родился в 1873 г. в Лодзи, изучал (пожалуй, довольно бессистемно) историю в Кракове, затем философию в Лейпциге и Берлине. Мицинский был типичным для fin de siècle дилетантом, занимавшимся мифологией, историей средних веков, индийской философией и историософскими спекуляциями. Он быстро стал плодовитым автором стихотворений, пьес и романов, аура которых сопоставима, к примеру, с русской литературой «серебряного века». Сборник стихотворений Мицинского под характерным названием «Во мраке звезд» (1902) произвел на Шимановского столь сильное впечатление, что он использовал оттуда десять текстов для песен в сопровождении фортепьяно. С тех пор между ними завязалось близкое личное знакомство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что польские переложения газелей Руми, опубликованные Мицинским в 1905 г. в «Химере», ведущем литературном журнале «Молодой Польши», немедленно привлекли внимание композитора, а в 1914 г., в пик своего увлечения Востоком, он обратился к ним вновь.

Как уже было сказано, персидского Мицинский не знал, но любовь к экзотическим темам почти автоматически привела его к «открытию» в краковской университетской библиотеке классической книги Хаммера «История персидской изящной словесности» (1818). Книга эта, которая увлекла когда-то Гёте и послужила основой для его «Западно-восточного дивана», включает переводы многочисленных персидских поэтов, в том числе 71 газель Руми. Эти таинственные (и оттого воспринимаемые как мистические) стихотворения так восхитили Мицинского своими, как он это определил, «странно-прекрасными глубями», что он немедленно переложил на польский больше двадцати переводов Хаммера



и опубликовал их в варшавской «Химере». Позднейшие исследования специалистов показали, что только десять из этих текстов вышли из-под пера Руми, но 276-я газель, которая нас интересует, действительно восходит к его оригиналу.

Выбор Мицинского был мотивирован его личными поэтическими предпочтениями. Его собственные стихи, как правило, посвящены «метафизическим» страстям исключительных душ, стремящихся достичь Абсолюта. Описаны их поражения и разочарования. Часто сюжет разворачивается в «космических» декорациях, на фоне которых эмблематические персонажи вроде Каина, Люцифера или Орландо ведут борьбу с Богом, судьбой или собственной разрушительной природой. Тексты Мицинского изобилуют словами «ночь», «мрак», «звезды», «пропасти», «бездны» и т.д., снабженными массой высокопарных эпитетов, а также эмфатическими повторами. Образное богатство и полный намеков и загадок стиль Руми пришлись Мицинскому по вкусу. Более того (или скорее: хуже того), Мицинский счел, что его собственная поэтическая сила равна силе персидского мастера, а потому дает ему право на далеко идущие изменения и «дополнения». Он гордо объявил об этой весьма сомнительной процедуре, подписав свои тексты в «Химере» словами: «перевел и создал Тадеуш Мицинский». Так что, как легко догадаться, его переводы по сути довольно далеки от текстов Руми. Это детально показал мой, ныне, увы, покойный коллега и друг Владислав Дулемба в замечательной статье, помещенной в коллективном сборнике «Труды о Тадеуше Мицинском» (Краков, 1979).

Если сравнить оригинал Руми, перевод Хаммера и польский текст Третьей симфонии, становится ясно, что стихотворение пропущено сквозь четыре разных «сита», каждое из которых сузило или деформировало его содержание. Вот они: 1) немецкий перевод Хаммера, содержащий несколько существенных неточностей, 2) весьма свободный перевод Хаммера Мицинским; 3) «творческие» дополнения того же Мицинского; 4) сокращения и перестановки в польском тексте, произведенные Шимановским. Окончательный текст «Песни о ночи» (озаглавлена самим композитором, поскольку в оригинале газели не имеют названий) — звучит следующим образом:

Не спи, о друг, в эту ночь
Ты — Дух, а мы больны в эту ночь
Прогони же сон от очей Своих
И тайна воссияет
Ты Юпитер на небосклоне
Ты паришь меж звёзд в небесах
Твой Дух свершает подвиг в эту ночь
Ах — как тихо спят другие
Я и Бог одни в эту ночь
И слышен гул — нисходит счастье
Правда осеняет нас крылом
Не спи, друг
Если б я проспал до утра
Я никогда не обрел бы вновь эту ночь
Утихло торжище
Взгляни на рынок звёзд
Там Лев и Орион
Там Андромеда и Меркурий мерцают кровью в эту ночь

Зловещими лучами жжет Сатурн
Плывет Венера в золотом дожде в эту ночь
Промчись над пропастью орлиной
Твой Дух свершает подвиг в эту ночь
Я умолкаю, завязав язык узлом
Но и без языка — я говорю в эту ночь!

По сравнению с прочими «переводами» Мицинского этот не слишком отличается от немецкого текста Хаммера и в общем дает некое представление об оригинале — по крайней мере в той степени, в какой эта странная поэзия вообще может быть понята. У пишущего эти слова есть собственная гипотеза касательно ее смысла, но здесь не место ее разворачивать (это сделано в нескольких специальных публикациях). Обычно, в том числе и при научном анализе, Руми рассматривают как мистика, который описывает свое ощущение близости к Богу и выражает его в форме квази-любовного ночного монолога, обращенного к некоему неуловимому Другу. Несомненно, именно так понимал это стихотворение Шимановский, который обостренно чувствовал предполагаемую сублимацию гомоэротических эмоций. Лично я думаю, что и эта интерпретация, и сомнительное «создание» данной газели Мицинским весьма далеки от подлинного смысла поэзии Руми, тем не менее работа польского (псевдо-)переводчика была не совсем бесполезна. Его текст вдохновил Шимановского и стал интегральной частью его прекрасного сочинения, которое и по сей день слушаешь с удовольствием и волнением.

Чтобы дополнить биографии участников этого «персидско-польского концерта», завершу очерк краткой информацией об их дальнейших судьбах, хотя напрямую к теме это уже не относится. Идиллический покой кончился в Тимошувке сразу после того, как грянула русская революция. Украина перестала быть иллюзорной тихой гаванью, где «мирно сосуществовали» разные народы и общественные классы. Поняв, что оставаться в уединенной сельской усадьбе опасно, семья Шимановских перебралась сначала в Елисаветград, а в 1919 г. через Одессу и Румынию — в Польшу, только что обретшую независимость. Вся последующая жизнь Кароля прошла в интенсивной педагогической и творческой работе, которая принесла ему больше славы, чем денег, в частых концертных турне за границей и — уже в 30-е годы — во все более безнадежной борьбе с пожиравшим его туберкулезом. Шимановский умер 28 марта 1937 г. в возрасте 55 лет в санатории в Лозанне; его останки привезли в Польшу и торжественно захоронили в «крипте заслуженных» краковского костела «На Скалке».

Конец жизни Тадеуша Мицинского был более неожиданным и драматичным. Во время войны он оказался в России, где, в частности, подвизался как журналист в Москве и Петербурге. В начале 1918 г., пытаясь вернуться в Польшу, он был убит в Белоруссии какой-то революционной бандой; его останки похоронены в маленькой деревне близ Черикова. Литературная слава Мицинского быстро потускнела, теперь его помнят прежде всего как «вдохновителя» ранних творческих свершений двух ключевых фигур польского модернизма: писателя Станислава Игнация Виткевича (1885-1939) и композитора Кароля Шимановского. Но, хотя бы имея в виду текст Мицинского к Третьей симфонии, можно сказать вслед за Горацием: «не весь он умер».



Войцех Скальмовский *— известный критик, профессор иранистики в университете Лувэн. Публиковался в парижской «Культуре».*



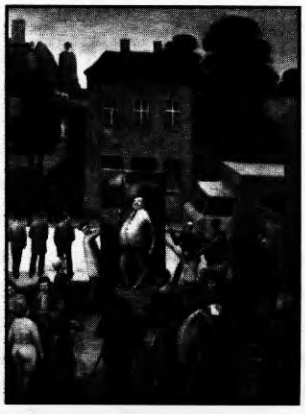
Збигнев Флорчак

НЕУЧЁНЫЕ МАСТЕРА



«После смерти всех художников призовут к престолу Господню. Они будут сидеть в черных плащах, в широкополых шляпах, в цветных платках, повязанных под воротником рубашки...» Так изрек Никифор — и многократно писал «Пир художников в небе». Ибо художники впереди всех прочих в иерархии мира: им Господь вручил дар творения. Трудно противоречить этому категоричному суждению — за ним стоят блестящие работы самого Никифора.

У нас он остается главным символом «наивного» творчества. В том же 1885 г., когда он (по-видимому) появился на свет, на Салоне Независимых в Париже сенсационно заявил о себе Таможенник Руссо. О Никифоре написано много книг и статей, важнейшие вышли из-под пера профессоров Анджея Банаха и Александра Яцковского. Яцковский подружился с крыницким художником в 1953 г., Никифор навещал его в Варшаве. Яцковский увидел в «наивных» свое призвание, в Институте истории искусств на Длугой улице он устроил для них Мастерские непрофессионального искусства. Будучи комиссаром трех очередных Триеннале непрофессионального искусства, он просмотрел около 80 тысяч работ! Большая выставка в «Захенте», которая называлась «Иные», вызвала всеобщий восторг, но, кроме немецкого коллекционера Людвига Циммерера, никто ничего не купил. Семь лет назад профессор Яцковский издал отлично иллюстрированный альбом «Искусство, именуемое наивным. Энциклопедический очерк». Это сумма знаний о предмете, иллюстрированный (в основном в цвете) обзор творчества около 90 авторов, каждому из которых посвящено краткое биографическое эссе. Вступление, написанное с завидной свободой, вводит в проблему, которая по-прежнему остается загадочной. При чтении возникает немало соображений, в том числе один ключевой вывод: для такого творчества нет никакого упорядочивающего критерия.



Эти художники происходят из самой разной среды, главным образом из крестьянской и рабочей, но встречаются среди них и интеллигенты. В основном они росли в бедности, однако это не правило. Попадаются среди них шизофреники, но в огромном большинстве это люди нормальные. Нормальные — если не считать таланта, который развивается в крайне неблагоприятных условиях. Побуждением к творчеству бывает (но не всегда!) желание компенсировать неудавшуюся жизнь. Вот трогательный пример: Юзефа Будзын-Новакова с детства рисовала картинки, которыми заинтересовался Яцек Мальчевский, живший неподалеку, в Люславицах (теперь там усадьба Кшиштофа Пендерецкого). Перед войной пани Юзефа, уже замужняя, пыталась поступить в краковскую Академию художеств, но как раз в это время лишилась зрения в автокатастрофе. Десяток с лишним лет она прожила во тьме. И вернулась к любимому искусству, найдя способ, вызывающий восхищение. Подушечками пальцев она начала лепить из папье-маше рельефные картины, которые потом раскрашивала. Произведения, полные тонкой, декоративной красоты.



Выбор техники часто определен домашней традицией или привычкой. К скульптуре приходит сапожник, который хорошо чувствует нож с треугольным острием. Или тот, у кого дома плотничают. Менее очевидны причины, по которым выбирают живопись... Здесь не стоит доискиваться рациональных причин. Среди художников-самородков есть умственно неразвитые люди, но их не так уж много. Это интересное явление пытались объяснить генетически. Мать Никифора была прислугой в крыницком пансионате, когда там бывал Александр Герымский. Вскоре родился бедняжка-младенец с приросшим языком, но удивительным талантом. Умники довольны!

Но если уж говорить о Никифоре, то он не ждал, когда на него снизойдет вдохновение, а трудился с утра до ночи. Профессор Яцковский наблюдал за ним, когда художник гостил у него в Варшаве: «Он начинал работать над живописью около 5 утра и лишь когда смеркалось откладывал краски и принимался рисовать контуры картинок, которые писал в последующие дни (...) Он написал, я думаю, несколько десятков тысяч картинок на картонках, листках из школьных тетрадей, крышках от сигаретных коробок, даже на склеенных клочках бумаги».

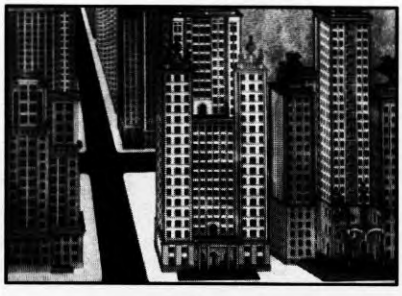


Истоки современного интереса к «наивному» искусству следует искать у французских романтиков. Стендаль сформулировал мнение, что наивность — это род сублимации обыденной банальности. На первом Свободном салоне в 1848 г., по-видимому, уже выставлялись анонимные художники — впрочем, о них ничего не известно. Первым стало известно имя Анри Руссо, который поразил всех в 1885 году. В начале XX века мир искусства был охвачен глубоким кризисом эстетических норм. В Париже были открыты африканские маски (это стоило бы особого рассказа)... Вскоре после этого подобрались к загадке наивных художников, произведения которых критика поначалу объявила «пугалами». В 1927 г. свою коллекцию «пугал» выставил Жорж Куртелин — и не только публика, не только художники Парижской школы, но и записные критики уже вынуждены были подыскать для этого иное название. Александр Яцковский тоже как бы заключил в кавычки название своего «энциклопедического очерка»: «Искусство, именуемое наивным». И совершенно справедливо, поскольку этому искусству присущи самые разные качества, отнюдь не только наивность. Из почти 90 загадочных художников я охарактеризую здесь — для примера — лишь нескольких (другого выхода нет).

Вот Кароль Вуйтяк, которого называли Иродиком. Деревенский пастух из Липницы-Велькой, что возле Бабьей горы. Умственно недоразвитый, зато неимоверно добрый. Желал добра всем людям и всякой твари. Сердце — как у святого Франциска Ассизского. К первому причастию отец справил мальчику темный костюмчик, тот прорезал в лацканах дырки и вставил в них цветы... В наказание его поселили в дровяном сарае... Пташки, потом фигурки святых, Иисус, Матерь Божия, все больше ангелов — таковы первые его скульптуры. Он раскрашивал фигурки. Христа — собственной кровью! Где-то в уголке прятал репродукцию «Троицы» Рублева. Однажды разлилась река, Иродик бросился на помощь, хотел остановить наводнение. В 1966 г. его скульптуры были показаны публике; их тут же начали описывать, исследовать — и критики, и психологи. Я смотрю на воспроизведенную в книге «Матерь Божию с Младенцем»: обобщенная фигура с едва намеченным лицом, большими круглыми глазами, а внизу — другое лицо, поменьше, с глазами как колеса. Звучание целого определяет бледно-голубой цвет, по всей поверх-



ности идут более светлые полоски. Образ вызывает умиление — применительно к искусству «наивных» это никогда не бывает неуместным. Их произведения нельзя и нет смысла рассматривать только с эстетической точки зрения.



И еще одно: о характере творчества много говорит биография художника. К примеру, сказочная история Теофиля Оцепки из Силезии. Он родился в 1891 г., с детства его влекли необъяснимые явления. Он каким-то образом отыскал дорогу в Вюртемберг, к оккультисту Гохману, тот стал его учителем. Перво-наперво Оцепка попросил Гохмана ниспослать дух, который помог бы ему играть на скрипке: он любит скрипку, но играть не умеет. Учитель выполнил просьбу, но вскоре велел ему обратиться к живописи. Теофиль никогда прежде этим не интересовался, но послушно принялся писать, много месяцев в муках корпел над картиной. Понес ее в Силезский музей — но никого это не заинтересовало. Оцепка бросил живопись на целых 17 лет. После войны, в 1947 г., он обнаружил, что власти интересуются любительским искусством. Вновь взялся за кисть, и на сей раз опыт удался. Правда, чиновники уговаривали его оставить религиозные темы и рисовать известные ему с детства силезские сказки. Он рисовал сказки, их увидела Изабелла Чайка, колоритная фигура того времени, и взяла Оцепку под свое покровительство. Познакомила его с Тувимом, Галчинским, Коттом. Он стал модным художником, у него отбоя не было от заказов на те или иные темы.



Однако несравненно интересней композиции, рожденные по его собственному влечению. Это мир неудержимой фантазии. «Дело слепого случая», масло на холсте, заключает в себе наивную по форме, но бескомпромиссную критику материалистического восприятия действительности. Его действительность — длинный цикл видений никем не виданных миров, изображенных по-своему, с воодушевлением. В этой живописи — вся оригинальность Оцепки. За 12 лет до смерти, в 1965 г., он написал «Рождение человека», волшебный сад, полный диковинных растений и животных (только слон и крокодил сохраняют привычные очертания). Композиция построена концентрически, многоцветна, хотя и несколько беспорядочна. Эта склонность к, так сказать, пестроте отличает Оцепку от Анри Руссо с его поразительно плотным и гармонизированным, хотя и не менее фантастичным письмом.

Вдохновенной и трагической художницей была Дорота Лампарт, жившая в крайней нужде на самой вершине Бабьей горы, в Бескиде-Живецком, на границе со Словакией. Душевнобольной матери давно не было в живых, отец неизвестен (должно быть, он был художником, иначе откуда у дочери такие способности?). Отчужденная от всего окружающего, она проводила дни в молитве и полной отрешенности. Это и есть содержание ее картин. Красноречивый пример распределения красок и планов — «Смерть женщины»: постель умирающей, над ней два голубых ангела с огромными крыльями, на переднем плане две женских фигуры в молитвенной позе — одна в красном одеянии, другая в светло-синем. За открытым окном — солнце, правильной формы красный шар с лучами. Чистые, безупречно тонированные краски, пишет Яцковский, определяют поэтику этих произведений. «Она всегда находит точную, лапидарную экспрессию для каждого образа. Сама она говорит: «Трудней всего писать человеческие лица... когда человек страдает, трудно написать красивое лицо. Для дев нужна белая краска, для мучениц — красная. Пресвятая Троица требует золотых красок,

серебряных, самых разных»». На деньги, вырученные от продажи картин, Дорота Лампарт прикупила бесплодной земли — и не возделывала ее (что возмущало соседей). Для нее эта небольшая прибавка земли — знак успеха. Она жаловалась на тяжелую жизнь, на одиночество: слова ее так же убедительны, как простота и инстинктивно достигнутая красота ее живописи. Откуда все это взялось здесь, на вершине Бабьей горы?



В 1979 г. умерла Луция Мицкевич, вышивальщица, достигшая такой изумительной гармонии цветов, словно она брала уроки у Яна Цибиса или Нахта-Самборского. Оба эти профессора, великолепные колористы, при виде вышивок Мицкевич воскликнули: «Чудесно, замечательно!» А Нахт добавил: «За такие вышивки я дал бы ей диплом по живописи!» Ее работы приобретали такие знатоки современного искусства, как Жан Кассу, Мишель Бютор, Илья Эренбург, Кэббот Лодж (посол США в Варшаве). В вышивке «Каникулы» из коллекции Яцковских звучит музыка зеленого и голубого с вкраплениями оранжевого и охры. Можно ли это рассчитать?.. До войны Луция работала вышивальщицей в салоне мод Станиславы Урбанковской, которая гордилась тем, что когда-то одевала русскую императрицу. Мицкевич долго не верила, что можно вышивать настоящие картины, пока в 1961 г. не увидела бесценные ягеллонские гобелены, возвращенные Польше Канадой. Тогда и она взялась за живопись вышивкой. Использовала шерстяную, хлопковую, шелковую нить, мишуру.



Нелегко выбирать среди художников, о которых пишет Яцковский, — с необходимостью выбора трудно смириться. Вот еще одно имя: Станислав Загаевский. Автор ни с чем не сравнимых керамических композиций. С фотографии смотрит полудикое, заросшее лицо, голова повязана какой-то тряпкой. Человек совершенно отрешенный, он живет во Влоцлавеке, в домишке, который ему выделили, захламленном и грязном, вместе с собаками, которые едят с ним из одной миски. В 1927 г. на пороге варшавского костела св. Барбары нашли корзину, выстеленную газетами, а в ней — младенца. Загаевский скитался по разным приютам, руки у него оказались золотые, и он нашел работу на реконструкции варшавского Старого Города. В конце концов осел на керамическом заводе во Влоцлавеке. Каждый год он совершает паломничество в Ченстохову. Перечитывает жизнеописание Микеланджело, считает его родственной душой. Он такой же маленький, некрасивый, у него тоже сломан нос. Талант распирает его. «Существует 75 способов ваяния, — говорит Загаевский, — из этого множества надо выбрать свой собственный». Его произведения теперь есть в музеях, во Влоцлавеке действует постоянная выставка работ Загаевского.



Важнейшие его работы — громадные «алтари»; каждый — из 150-250 керамических элементов. «Это страстные, но аскетичные образы: «Богоматерь скорбящая», «Христос Распятый»... — пишет Яцковский. — Мастерски исполненные и одновременно необузданные, они приводят на память испанское барокко и гениальную архитектуру Гауди». Действительно, в них есть что-то от растительных форм Гауди, а вот народной традиции доискаться нелегко. Это конвульсивные, сплетающиеся видения: лица как маски, фрагменты листьев и веток, фигуры не то людей, не то чудищ с непропорционально крупными лицами и громадными глазами. Вся масса форм сжата на малой поверхности композиции, спрессована изнутри своеобразным напряжением. Не сразу отдаешь себе отчет, что это напряжение — твои собственные эмоции.

Снова и снова разглядывать десятки цветных репродукций — самый скромный и совершенно недостаточный метод общения с творчеством «наивных» художников. Но даже это выбивает из рав-

новесия. Натиск необычайного, странного — невыносим. Все известные формы строятся здесь с нуля — никогда не знаешь, по какому принципу. Вот «Казнь» Рышарда Косека: эти люди с непропорциональными конечностями, вздутыми головами, облаченные в красочно-яркие наряды, сперва кажутся изображенными шутки ради. Но они более чем серьезны. Им присуща абсолютная новизна — они родом из неведомого. Или «Вокзал в Катовице» Павла Столёжа: на хорошо колористически выстроенном прямоугольнике картины — масса людей и построек. Но эта толчея превосходно организована. Прохожие, поезда, трамваи, громоздящиеся каменные дома — всё через страстно прорисованные детали и без всякой заботы о так называемых дальних и ближних планах, что дает невероятный эффект.





Мир «наивных», а точнее, их бесчисленные миры переворачивают вверх дном категории рассудка, нормы вкуса и эстетики, представления об изобразительной технике. ***Они*** знают всё это гораздо лучше и *истинней*. Вот самая суть этого явления. Каждый из них исходит из своей истины — той, которая при созерцании произведения кажется единственно верной.

И тогда мы говорим себе: однако до чего же практичная вещь — так называемая нормальность! Она позволяет определять время по часам и календарю, чувствовать под подошвой надежную поверхность тротуара. Какую страховку дает рутина культуры: картины, мелодии, книги и разговоры, в том числе бесконечные споры об искусстве. Но не дай Боже попасть в один из неисчислимых кругов «наивного» видения. Все прежние точки опоры, все протезы падают из рук. Такова цена того, что мы подпадаем в магию этого творчества. Стоит ли платить такую цену?

Несомненно, стоит. Это не плата, а огромная и, пожалуй, незаслуженная привилегия. Ибо ***они***, эти художники-самородки с дипломами чародеев, обновляют жизнь. А жизни остро требуется обновление: она все глубже погрязает в штампах, рекламе, бесконечных ложных условностях — не только смертельно скучных, но и откровенно вредоносных, ибо они убивают свежесть взгляда, непосредственность реакций. Что тут скрывать: человеческая аппаратура изрядно проржавела. Искусство, именуемое наивным, выполняет роль масла, диковинной смазки, которая позволяет этому механизму хоть на минуту вновь прийти в движение, работать и захватывать. Для профессионального изобразительного искусства это как бы переливание крови (если бы оно решило воспользоваться такой операцией!). Жизненная рутина весьма полезна, но вырваться из рутины — омолаживает! ***Наивные*** — тот самый, овеянный тайной, тысячи лет отыскиваемый корень мандрагоры, которому приписывали свойства любовного напитка и всевозможные другие наркотические силы.

Стр. 96:
Альфред Любоцкий, «Прощание», 1965, масло, холст;
Ярослав Миклясевич, «Summa summarum», масло, холст.
Стр. 97:
Тадеуш Невядомский, «Расстрелянный» из цикла «Мученичество Польши», 1961, дерево;
Никифор, «Художник на мосту», около 1937, акварель, бумага;
Теофиль Оценка, проект плаката для ООН, масло, холст.
Стр. 98:
Константы Павловский, «Город», 1974, тушь, мелок, бумага;
Зенон Радке, «Дама с собачкой», 1965, масло, холст;
Енджей Вавро, «Св. Иоанн Богослов», 1925, гравюра на дереве.
Стр 99:
Станислав Живолевский, «Каждый несет такой крест, какой в силах нести», 1988, масло;
Анджей Бигайский, «Война», 1970, тушь, бумага;
Вацлав Червинский, «Маленький дух, стерегущий цветок папоротника в ночь Ивана Купалы», 1963, дерево.
Стр. 100:
Эдвард Колач, «Хлеб», около 1975, дерево;
Леон Кудла, «Христос и Иуда», до 1939, дерево, полихромия.



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Достойно внимания, что полвека между 1939 и 1989 гг. все отчетливей начинают выступать в польских размышлениях над национальным самосознанием как необычайно цельный период — настолько, что не только тенденции официальной историографии ПНР, выделявшей период II Мировой войны как замкнутую главу в национальной истории, но и публицистика, подходящая к этому периоду аналогично, оказываются попросту фальсификацией. 1939-1945 гг., отрезок времени, которому посвящена статья Анджея Пачковского, напечатанная в 140-м выпуске издаваемых парижским Литературным институтом **«Зешитов хисторичных»** («Исторических тетрадей»), — лишь вступительный этап всего периода, начавшегося крушением II Речи Посполитой, притом нуждающийся в принципиальном пересмотре по сравнению с истолкованиями, господствовавшими в течение десятилетий и определявшими 1945 год как дату «освобождения», «обретения свободы». Не подлежит сомнению и то, что одной из важнейших задач, встающих сейчас перед исследователями истории Польши после 1945 г., станет определение характера политического бытия польского общества вплоть до 1989 года. На это указывают слова из статьи А.Пачковского «Польша — жертва двух тоталитаризмов. 1939-1945»:

«Война, кровавая фаза которой началась благодаря временному союзу СССР и нацистского Третьего Рейха, стала, пожалуй, самой смертоносной цепью событий в истории человечества. Во всяком случае в новейшей истории. Польша, зажатая между двумя этими державами, стала ее жертвой — и как государство, и как общество, т.е. поляки вместе с их соседями. Она не только понесла огромные человеческие и материальные потери от войны и оккупации. В результате войны, из которой победителем вышел Сталин, в Польше свыше сорока лет господствовала система, зависевшая от идеократической советской империи, неэффективная, бесхозяйственная, не соблюдавшая прав человека. Летом 1939 г. один польский политик на вопрос, кто худший враг Польши — Германия или большевицкая Россия, ответил: «Немцы возьмут наши тела, а советские — наши души". Так оно и стало: немцы уничтожили больше польских граждан, но советские сумели надолго осесть в Польше».

Что означает это «осесть», и как определить государственное существование поляков в это время? Эти вопросы остаются открытыми, и на них нужно найти ответы, в которых не будет забыта и непрерывность структур польской государственности вне Польши, в эмиграции, иначе потеряет всякий смысл передача символов государственной власти президентом в изгнании Качоровским Леху Валенсе во время его вступления на пост президента. Но возникают и более сложные вопросы: в какой мере за полвека преобразовалось само польское общество, как в результате исторических процессов изменился характер польского государства? Пачковский затрагивает эти проблемы скорее мимоходом, но не отрицает их важности:

«В 1939 г. польское общество, как и многие в этой части Европы, было многонациональным: на 35 млн. населения поляки составляли около 65%, украинцы — около 15%, евреи — около 9%, белорусы — около 5%, немцы — около 3%. В Польше жили также русские, литовцы, словаки, цыгане. Поэтому вернее будет применять термин «общество" ко всему

населению Польши, а «поляки" — к членам польской нации. Эти различения всегда существенны, но особое значение они имели в период II Мировой войны и оккупации, ибо почти для каждого из этих народов война и оккупация означали нечто совершенно (или почти совершенно) иное. Достаточно указать на евреев и цыган, с одной стороны, и немцев — с другой. Поэтому историк, описывающий историю польского государства и польского общества в 1939-1945 гг., оказывается перед трудной задачей описать судьбы этнической мозаики. Как правило, он выбирает выход, который в известном смысле оказывается бегством: польские историки концентрируются на судьбе поляков, украинские — украинцев, еврейские — евреев. Только Катастрофа остается до известной степени общей темой. (...) После крушения коммунизма в 1989 г. исследования истории разных народов, которые жили (и поныне живут, хотя в совершенно иных пропорциях) в Польше, необычайно развернулись, но все-таки всего не охватили. Нет, например, монографии о немцах — польских гражданах, которых в 1939 г. было не меньше 750 тысяч. Этноцентрическая точка зрения, хотя и должна быть признана предосудительной, стала настолько частой, что выглядит естественной».

И сам автор статьи становится на такую точку зрения. Это, вероятно, имеет одно достоинство: позволяет читателю задуматься над тем, как изменилось национальное самосознание поляков, исторический путь которых «выпроводил» их из многонационального государства в рамки государства, в принципе национально монолитного. На мой взгляд, это тем более интересно, что эта многонациональная Польша стала стимулом для молодой литературы после 1989 г., открывавшей неизвестное, завлекательное, даже экзотическое прошлое «малых родин»: в конце концов не случайно успехом пользовались такие произведения, как «Вейзер Давидек» Павла Хюлле, «Ханеманн» Стефана Хвина, «Лида» Александра Юревича, «Белый камень» Анны Болецкой, «Бреслав» Анджея Завады, «Уничтожение» Петра Шевеца, «Айне кляйне» Артура Д. Лисковацкого, проза Ольги Токарчук, эссе Генрика Ванека, описывающие сплетения многонациональных судеб; не случайна и вспышка интереса к литературе «кресов» (окраин Польши. — *Пер.*), как давней, так и современной, притом этот интерес проявляют отнюдь не исключительно старшие поколения — наоборот, занимающиеся ею литературоведы сравнительно молоды.

В статье Пачковского раскрыты механизмы, пущенные в ход во время войны и укреплявшие, даже развивавшие межнациональную вражду, существовавшую в довоенной Польше:

«Тоталитарный характер обоих государств, которые оккупировали Польшу, их вселенские планы и амбиции выражались, в частности, в глубинном вмешательстве в жизнь общества, что привело к резкому росту межнациональных конфликтов. Как я уже упоминал, даже советские действия, теоретически опиравшиеся на классовые принципы, по существу сводились к репрессированию поляков и протежированию других национальностей, живших на землях, которые были присоединены к Советскому Союзу. Немецкие действия были совершенно ясны: создание барьеров между разными народами вполне умещалось в немецком образе восприятия и упорядочения мира. В обоих случаях шло о чем-то, превосходящем старый прием «разделяй и властвуй", ибо социотехника была связана с идеологиями и даже прямо вытекала из них. Хотя действия оккупантов опирались на национальные конфликты, существовавшие и раньше, но придали этим конфликтам, так сказать, «новое качество" и новые аспекты, результаты чего ощутимы и по сей день».

В качестве примеров жестокого обострения этих конфликтов Пачковский указывает участие поляков в массовом убийстве евреев в местечке Едвабно и польско-украинские бои на Волыни:



«Хотя это практически недоказуемо, я считаю, что тоталитарный характер обеих держав, по очереди оккупировавших эти земли польского государства с национально смешанным населением, и тотальный характер войны, которую. они вели, способствовали необычайному обострению национальных конфликтов. В высшей степени вероятно, что такие событие, как убийство в Едвабно или «волынская резня", стали возможны в таком размахе благодаря тому, что почву для них создали обе тоталитарные идеологии, основанные на ненависти и восхвалении насилия. И неважно, во имя революции творилось это насилие или во имя расовой борьбы за место на земле».

Память об этих событиях травмирует, и появляется естественная склонность вытеснять ее. Однако прав Леон Керес, уже в заголовке своей статьи подчеркивая: «Национальное достоинство невозможно без национальной памяти» (**«Одра»**, 2002, №5). Леон Керес — директор Института национальной памяти, задача которого — расследовать и доводить до суда преступления против человечества, совершенные в 1939-1989 гг. В частности, институт ведет расследование по делу о массовом убийстве евреев в Едвабно, о котором наш журнал немало писал (особенно в весенних и летних номерах прошлого года). Свою статью он начинает с размышлений общего порядка:

«Историки часто ставят перед нами вопрос о памяти. Имеют ли народы память? Или память — лишь атрибут личности? То, что мы называем национальной памятью, — это по сути история нации, преобразованная и записанная. Послевоенный опыт польского народа показывает — и, по-моему, доказательно, — что то, что мы называем исторической истиной, выжило благодаря памяти личностей. Официальная, идеологически обусловленная история часто опиралась на ложь, а преступным становилось даже мыслить об историческом опыте иначе, нежели предписывала творимая властью официальная история поляков».

Деятельность Института национальной памяти связана с обнародованием данных не только о самих преступлениях, но и о всяческих недостойных поступках, результатом которых становились преследования людей коммунистической системой, а это означает необходимость проверки документации госбезопасности и предоставления доступа к ней.

«Когда я решил взять на себя ответственность за осуществление уставных задач ИПН, — пишет проф. Керес, — мне часто приходилось слышать, что недостойно заниматься документами тайной полиции коммунистического государства, что нравственно оправданным было бы убрать из памяти польского народа все, что творили сотрудники и секретные сотрудники госбезопасности. Если я сейчас вспоминаю об этой аргументации, то лишь затем, чтобы спросить, существует ли право отказать человеку в познании причин своих злосчастий, опираясь на довод, что-де желание узнать, кто наносил тебе ущерб, недостойно. Можно встретить высказывания, согласно которым во всем зле, причиненном людям, виновата система, основанная на тоталитарной идеологии. Однако совершенно очевидно, что, будь создатели тоталитарных идеологий XX века и их ближайшие подручные лишены исполнителей, готовых любой ценой воплотить в жизнь всякую патологию мышления Гитлера и Сталина, сегодня мы знали бы эти имена лишь как случаи, описанные в учебниках клинической психиатрии. Тот факт, что они нашли так много добровольных сотрудников и исполнителей, превратил их патологическое мышление в идеологию, которая в масштабах, неизвестных в истории человечества, лишила миллионы людей права на собственное достоинство.



Что такое достоинство личности, и что такое достоинство народа — или, может быть, достоинство остается лишь атрибутом личности? Давая определение человеческому достоинству, Мария Оссовская писала: «Достоинством обладает тот, кто умеет защищать признанные им самим ценности, с защитой которых связано ощущение своей ценности, и кто по этой причине ожидает от других уважения". К этому прекрасному определению я добавил бы еще один элемент: достоинством обладает тот, кто не боится нести ответственность за свои поступки, предпринятые, как написала Оссовская, в защиту исповедуемых им ценностей. Нацистских и коммунистических преступников, при всех различиях обеих идеологий, характеризует презрение к своим жертвам и уверенность, что сами они не понесут никакой ответственности за то, что содеяли во имя воплощения в жизнь безумных философий. Лешек Колаковский написал об этом так: «Вот секретное оружие тоталитаризма: отравить ненавистью всю духовную ткань человека и тем самым лишить его достоинства". Создатели обеих тоталитарных систем, отказывая своим жертвам в праве сохранить человеческое достоинство, как будто теряли способность понимать, что этим они и самих себя его лишают.

Институт национальной памяти в своей деятельности показывает этот успешно действующий механизм тоталитарного государства, который, отнимая у преследуемых право на человеческое достоинство, одновременно отнимает достоинство у тех, кто служит ему в качестве исполнителей тоталитарного беззакония. Только так можно обосновать значение прав человека в системе современного правового государства. И поэтому, уверен, необходимо публиковать документы прошедших десятилетий, чтобы их содержание помогло нам понять смысл и значение перемен, происходящих в современной нам Европе».

Признаюсь, что эти слова я читаю с надеждой. С надеждой на то, что труд историков, стремящихся показать процессы порабощения целых обществ, в соединении с трудом тех, кто расследует конкретные преступления, станет каким-то уроком для потомков. А пока что ИНП — учреждение, деятельность которого разжигает страсти, тем более что он часто открывает полякам не самую приятную картину их собственных деяний, их включенности в механизмы исторической машины. Такую память люди предпочитают не будить. Керес пишет:

«В своей деятельности я часто встречаюсь с вопросом: не должно ли определять границы памяти польского народа общее всем принадлежащим к нему индивидуумам понятие национального достоинства? Этот вопрос вытекает из мнения, согласно которому возвращаться к этим событиям прошлого, которые могут быть восприняты как позорящие нас, современников, — ниже нашего достоинства. (...) Отвечая на этот вопрос, я хотел бы сослаться на определение нации, которое дал проф. Юзеф Халасинский: «Основная ценность национальной культуры — честь, ценность одновременно национальная и личностная. Нация — это своеобразный союз общей чести. (...) В существо нации как социально-культурного образования входит и то, что ее внутренняя связь вытекает из общей системы ценностей, признаваемых отдельными людьми добровольно, как автономными существами, т.е. обладающими честью, личным достоинством". Эта мысль, выраженная стилистически благородно, мысль, согласно которой польский народ — это сообщество чести, повелевает вести следствие и по делу об убийстве польских граждан еврейской национальности в Едвабно, для того чтобы Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа, — за деятельность которого я отвечаю, мог быть признан в правовом государстве проводящим в жизнь идею права на службе памяти и достоинству польской нации».



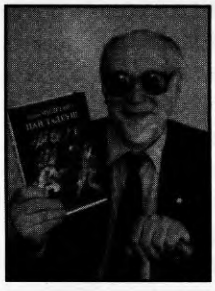
Янина Куманецкая
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• 28 июня министры культуры России и Польши Михаил Швыдкой и Анджей Целинский подписали в Варшаве договор о сотрудничестве сроком на 2 года. В рамках договора польский Национальный театр посетит Москву и Петербург, а Большой театр из Варшавы выступит на сцене московского государственного академического Большого театра. В варшавском Королевском замке пройдет выставка «Польское серебро в российских собраниях». С другой стороны, нам известно, что польский зритель ждет гастролей российских театров, об успехах которых он знает только понаслышке. Стоило бы также вновь открыть передатчик, дающий возможность смотреть в Польше передачи российского телевидения, прежде всего — канала «Культура».

• Рукописное собрание Национальной библиотеки пополнилось письмом Фредерика Шопена Войцеху Гжимале от 8 октября 1839 г. с припиской Жорж Санд. В Национальной библиотеке, хранилище сокровищ культуры, собрана крупнейшая в мире коллекция беловых нотных автографов Шопена, которая в 1999 г. была включена в список ЮНЕСКО «Память мира» — перечень памятников мирового наследия письменности. Благодаря покупке найденной рукописи и включению ее в собрание Национальной библиотеки коллекция сохранившейся переписки композитора пополнилась новым, необычайно важным для польской культуры памятником, расширяющим источники исследований наследия композитора.

• Специальные дипломы за заслуги в примирении и сближении польского и русского народов получили русский музыковед Святослав Бэлза и авторы польского мюзикла «Метро» Януш Стоклоса и Януш Юзефович. Дипломы подписали министры иностранных дел обеих стран Игорь Иванов и Влодзимеж Цимошевич. Церемония вручения дипломов проходила в «Театре на выспе» («Театре на острове») в варшавском парке Лазенки. Дипломы присуждались во второй раз, прошлогодним польским лауреатом был главный редактор «Новой Польши» Ежи Помяновский.

• Лауреатом премии им. Анджея Дравича за этот год стал переводчик Станислав Свяцкий. Он перевел на русский язык, в частности, произведения Шимборской, Рея и Мрожека, ему принадлежат новейшие переводы «Пана Тадеуша» и «Конрада Валленрода». Премия присуждается уже два года лицам, имеющим особые заслуги в пропаганде польского культурного наследия за границей.



• В Уяздовском замке в Варшаве прошла международная встреча писателей «Память, ностальгия, забвение». Одной из тем был опыт расчета с прошлым, ответ на вопрос, как посткоммунистическая ностальгия проявляется в культуре, общественном поведении, политическом выборе. Во встрече участвовали писатели из Австрии, Албании, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, Украины, Чехии, Югославии и Эстонии, Во время встречи проводились просмотры фильмов, а также прошла выставка фотографий Тадеуша Ролье.

• Литературную премию Фонда Аденауэра получил в Веймаре польский поэт и публицист Адам Загаевский. Прожив больше двадцати лет в Париже, Загаевский объявил, что возвращается на постоянное жительство в Краков.

• Почетными гостями 47-й Международной книжной ярмарки в Варшаве были в этом году Литва и Латвия. Из этих стран приехали писатели и издатели, в ярмарке участвовали также многочисленные польские авторы.

• В связи с началом издания краковским «Выдавництвом литерацким» («Литературным издательством») собрания сочинений Витольда Гомбровича в Польшу приехала вдова писателя Рита Гомбрович. В интервью «Газете выборчей» она, в частности, сказала: «Лишь в конце 70-х в Германии вышло первое собрание сочинений [Гомброви-

ча]. Авангардом издания Гомбровича были Франция и Голландия. Но после того, как была снесена Берлинская стена, Гомбровича начали переводить во всех странах Восточной и Центральной Европы. В России появилось множество пиратских изданий. Чаще всего переводят «Дневник». (...) Когда люди слышат слово «поляк», они сразу думают, что написанное им будет запутанным, трагическим, гнетущим». В «Выдавництве литерацком» вышло новое, дополненное издание книги Риты Гомбрович «Гомбрович в Европе. 1963-1969» (с 1939 г. Гомбрович жил в Аргентине и только последние годы жизни прожил в Европе. — *Пер.*).



• Жюри главной польской литературной премии «Нике» возглавляет в этом году Мария Янион. Номинации удостоились 20 книг, среди которых на этот раз преобладают биографии и автобиографии. Впрочем, в списке есть и книги стихов Тадеуша Ружевича и Юлии Хартвиг, а также сборник рассказов Ольги Токарчук, дважды победившей в читательском плебисците.

• «Микрокосм. Портрет среднеевропейского города» — эту книгу о Вроцлаве написал известный английский историк Норман Дэвис в соавторстве с молодым историком Роджером Мурхаузом. «Книга Дэвиса, — пишет рецензент, — благодаря особой атмосфере и стилю повествования, а главное, благодаря множеству анекдотических историй дает нам, нынешним и бывшим вроцлавянам — да, пожалуй, и «бреслауэрам» в Германии, — нечто очень важное. Она открывает перед нами что-то вроде шкатулки с забытыми семейными драгоценностями и заставляет нас переживать давние и древние несчастья, успехи, судьбы, красоту того, что было создано и не уцелело, как лично нам принадлежащие... «Микрокосм» открывает (...) единственный в своем роде genius loci [дух места] этого города, ясно ощущавшийся людьми отдаленных друг от друга эпох и культур».

• О Вроцлаве все чаще говорят и по другому поводу. Кандидатура столицы Нижней Силезии выдвинута на проведение Всемирной выставки 2010 г., и после недавних посещений международной комиссии остается надежда, что Вроцлав будет выбран. Кроме того выдвинута кандидатура Вроцлава как потенциальной резиденции Центра против изгнания населения (имеется в виду изгнание по национальному признаку, прежде всего послевоенное изгнание немцев из Польши и аналогичные операции в прошлом, настоящем и будущем. — *Пер.*). «Вроцлав означает фактическое повседневное примирение, для которого требуется преодолевать сопротивление как в Польше, так и в Германии. В первую же очередь оно требует, чтобы мы делились историей со своими соседями», — пишут об этом в «Газете выборчей» Адам Михник и Адам Кшеминский.

• Дмитро Павлычко, украинский поэт, переводчик и дипломат, стал почетным доктором Варшавского университета. В 1999-2002 гг. Павлычко был послом Украины в Польше. Его стараниям мы, в частности, обязаны воздвижением памятника Тарасу Шевченко в Варшаве.

• В рамках проходящего в Австрии Польского года в Вене была показана самая знаменитая польская выставка — фарасские фрески, сорок лет назад спасенные в нубийской пустыне польскими археологами. Выставка, открытая в залах Музея истории искусства, в новом оформлении, изображающем раннехристианский храм, пользуется в столице Австрии большим успехом.

• В варшавском Национальном музее после года ремонта открыта Галерея средневекового искусства. В этой галерее, основанной в 1935 г. профессором Михалом Валицким, а впоследствии неоднократно расширявшейся, находятся такие сокровища, как Грудзёндзский полиптих и алтарь-складень «Благовещение Марии с единорогом», а также скульптура Прекрасной Мадонны из Вроцлава.

• Войцех Фибак, в прошлом известный теннисист, выиграл торги на галерею в помещении кордегардии варшавской Академии художеств. «Последние 20 лет я живу то в Париже, то в Нью-Йорке, — сказал он на открытии, — но в последнее время все чаще бываю в Варшаве. Поэтому я решил привезти сюда бóльшую часть своей коллекции современного польского искусства — 160 картин. Большинство того, что я экспонирую, не продается. Я делаю ставку на организацию выставок, а не на прибыль». На первой выставке, названной «Польские классики современности», были показаны картины Лебенстейна, Кантора, Новосельского, Фангора, Геровского.

• Магдалена Абаканович получила степень почетного доктора Института изящных искусств в Чикаго, одного из ведущих художественных вузов мира. Это уже четвертая американская степень доктора honoris causa, присвоенная польской художнице.



Макото Сайто
ЛОТРЕК

• Лауреатами XVIII Международного биеннале плаката в Вилянуве [район Варшавы] стали: в категории идейных плакатов — Алекс Жордан (Франция); в категории культурных плакатов золотая медаль тоже досталась французу, Алену ле Кернеку; за рекламный плакат награжден японец Макото Сайто. Для Польши кончились времена триумфов, но премия «Золотой дебют», полученная полькой Доминикой Ружанской, вселяет надежду.

• На фестивале «Боннер-Биеннале», важнейшем в Европе показе современной драматургии, большим успехом пользовалась пьеса польского драматурга Ингмара Вилькиста «Ночь Гельвера» в постановке варшавского театра «Вспулчесный».

• Почетным гостем театрального фестиваля «Контакт» в Торуни был в этом году итальянский режиссер Эудженио Барба, ученик Ежи Гротовского, создатель труппы «Один театрет». На фестивале выступили 14 театров из 10 стран. В этом году не было классических текстов, а фестиваль был задуман как «похороны XX века».

• «Польские документальные фильмы отличны в камерном жанре, там, где речь идет о наблюдении заурядной жизни и где не нужны большие затраты, — писал после Краковского фестиваля короткометражных фильмов Тадеуш Соболевский. — Трудности начинаются с более сложными, глубокими жанрами, требующими более основательного изучения и подготовки». В международном конкурсе краковского фестиваля «Золотого дракона» получил Ород Аннапур (Иран) за фильм «Парниан»; «Серебряных драконов» получили: за анимационный фильм — Фил Маллой («Вторжение», Великобритания), за художественный фильм — Славомир Фабицкий («Мужское дело», Польша), за документальный фильм — Борис Ланкош («Развитие», Польша). В польском конкурсе жюри присудило «Золотого лайконика» фильму Станислава Мантужевского и Малгожаты Лупины «Химильсбах — истины, выдумки, черные дыры».

• Немецко-французско-польско-британский фильм «Пианист» Романа Полянского получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского международного кинофестиваля. «Этот фильм, — пишет Тадеуш Соболевский, — двойная биография: Владислава Шпильмана, музыканта, спасшегося из гетто, а затем варшавского Робинзона, спасшегося в руинах столицы после Варшавского восстания, и в какой-то мере самого Романа Полянского, спасшегося из краковского гетто». На пресс-конференции Полянский сказал: «Думаю, это будет важный фильм для поляков. Он покажет людям гетто таким, каким оно было и каким я сам его запомнил. Это меня и стимулировало, а не то, сколько денег я получал за съемочный день». Комментатор «Газеты выборчей» Марек Бейлин добавляет: ««Пианист» — это не просто фильм. Это невероятная, но истинная история еврея, который спасся от геноцида, потому что ему помогли порядочные люди — поляки и немец. Это важная и злободневная тема, она вписывается в польские горячие споры о поведении поляков по отношению к евреям во время оккупации. (...) Такой взгляд, простой, но мудрый, очищает прошлое от стереотипов и предубеждений».

• 27 июня в Варшаве скончалась Иоанна Поллякувна, выдающаяся польская поэтесса, автор ценных книг и монографий о живописи — в частности, о творчестве Юзефа Чапского, о польском формизме, а также замечательной книги «Польская живопись между войнами 1918-1939», написанной совместно с В.М.Рудзинской. Произведения Иоанны Поллякувны неоднократно переводились на русский язык, прежде всего Натальей Астафьевой.

Анна Мицнер

БЕЗДОМНАЯ ГАЛЕРЕЯ



Культурным событием, получившим широкий отклик в СМИ и привлекшим внимание многих фотографов, как профессионалов, так и любителей, стало открытие «Бездомной галереи». С этой инициативой выступили замечательные фотографы Томек Сикора и Анджей Светлик. Их идея — устраивать выставки, не требующие финансовых расходов, на которых мог бы выставляться каждый, кто хочет показать свои работы широкой публике. Это могут быть и известные фотохудожники, и — преимущественно — любители, люди, делающие фотографии (необязательно на профессиональном уровне), которых никто не знает и у которых раньше никогда не было возможности выставляться. Таким людям «Бездомная галерея» дает шанс выйти к публике, найти кого-то, кто заинтересуется их искусством. Выставки проходят в местах, предоставленных на несколько дней или на неделю (например, в помещениях, требующих ремонта). Художники приходят туда и лично оформляют экспозицию. Потом они сами охраняют выставку и показывают ее посетителям. Во время развески фотографий и в процессе выставки фотографы знакомятся друг с другом, устанавливают новые ценные контакты. Царящая там атмосфера напоминает скорее дружескую встречу, нежели обыкновенную выставку, на которой человек сосредотачивается прежде всего на осмотре произведений искусства. Здесь интерес представляют не только произведения, но и сами художники.

«ШИЗОФРЕНИЯ»

19 июня в варшавской Национальной библиотеке прошла встреча с редколлегией ежеквартального исторического журнала «Карта» (подробнее о нем писал Витольд Бересь в «Новой Польше», 2001, №3). На встречу пришли десятки людей, по-видимому, постоянных читателей журнала, но, пожалуй, никто из собравшихся не ожидал такой дозы горькой правды. После краткого вступительного слова главного редактора Збигнева Глюзы, который обрисовал историю «Карты» и основные направления ее документальной и издательской деятельности,

был представлен последний, 34-й номер журнала, состоящий по сути дела из одного обширного блока публикаций. Их автор — живущая в Польше литовка Вита Зелакявичюте, которая в прошлом году завершила съемки часового документального фильма «Шизофрения». Фильм посвящен карательной психиатрии в СССР — ее жертвам (диссидентам) и палачам (врачам). Зелакявичюте сняла беседы с бывшими многолетними «пациентами», подвергавшимися физическим и психическим пыткам за противодействие системе, с людьми, отважившимися сказать во всеуслышание об этой позорной практике, а также с врачами, которых ей удалось уговорить выступить перед камерой. Последние, как правило, не испытывают угрызений совести и до сих пор занимают ответственные должности в больницах. Беседы сопоставлены с кадрами, снятыми в наше время в этих страшных местах.

В «Карте» можно прочесть подборку интервью, вошедших в фильм, а также текст Виты Зелакявичюте, рассказывающий о работе над ним. Участники встречи получили возможность непосредственной беседы с режиссером и просмотра этого строгого, шокирующего фильма.

П.М.

Первая выставка открылась 25 мая этого года и продолжалась неделю. Она проходила в Варшаве, в здании бывшего банка на улице Злотой. Выставка была принята очень тепло. Людям понравилась идея «Бездомной галереи», а после того как ее заметили СМИ, быстро появились предложения новых мест ее проведения со всех концов Польши. Следующая выставка должна пройти в одном из помещений Гданьской судоверфи.

Как пишет Якуб Винярский, помогавший в осуществлении проекта, «отправная точка этой затеи — полная свобода: свою выставку может подготовить каждый, кто хочет; кто считает, что он делает интересные фотографии. Мы не хотим подбирать авторов по какому-то принципу, навязывать темы, количество работ и способ



их представления. Нам бы хотелось, чтобы рядом висели работы любителей, студентов фотошкол, начинающих фотографов и профессионалов. С помощью «Бездомной галереи» мы хотим дать возможность выставить свои работы тем людям, которые только начали свой путь в фотографию, тем, кто не знает, в какую дверь постучать, а также тем, кто никогда не думал представлять свои фотографии на суд широкой публики и бережно прятал их в ящик. Короче говоря, мы знаем, что в Польше фотографируют тысячи людей, причем многие из них делают интересные фотографии. Мы хотим дать им возможность показать свое творчество».

Евгения Домбковская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — В ПОДАРОК ВАРШАВЕ

7-9 июня в Варшаве проходил Петербургский уик-энд (в прошлом году в мае поляки показывали свое искусство россиянам).

Петербуржцы приехали в наш город по приглашению мэрии города, муниципалитета района Центр и его бургомистра при финансовой поддержке администрации Санкт-Петербурга. Организацией фестиваля занимался Мазовецкий центр культуры и искусства.

В течение трех дней варшавяне побывали на двух выставках. Они увидели картины Ирины Бирюли, удостоенной в 1997 г. Гран-при за выставку на конкурсе «Окно в Нидерланды», и фотографии Анатолия Медведникова. Его работы выставлялись в Польше (Гданьск), на Кипре, в Израиле, а коллекцию черно-белых фотографий приобрел Национальный музей фотографии Франции. На экспозиции были представлены снимки из альбома «Дворец Юсупова».



«Терем-квартет»

Ни один российский фестиваль не обходится без романсов или балалаек. На этот раз нам повезло, и мы услышали «Серебряный голос России» — Олега Погудина. Год тому назад он уже приезжал в Польшу. В нынешний приезд организаторы предусмотрели огромный интерес публики и провели три концерта. Спонсором последнего был российско-польский фонд «Культура и искусство без границ». К сожалению, даже три концерта не удовлетворили всех желающих. Успех был огромный, овации стоя длились по пятнадцать-двадцать минут.

Торжественное открытие Петербургского уик-энда прошло в зале Филармонии. На концерте выступил уникальный по звучанию «Терем-квартет»: Андрей Константинов играет на малой домре, Андрей Смирнов — на баяне, Михаил Дзюдзе — балалайка-контрабас, Алексей Барщев — домра-альт. В репертуаре концерта были классические произведения, такие как Увертюра к опере Россини «Севильский цирюльник», ноктюрн Es-dur Шопена, сюита из оперы Бизе «Кармен» в обработке «Терем-квартета», «Маленькая ночная серенада» Моцарта и много других, казалось бы, вовсе не подходящих для этих инструментов сочинений. Кроме концерта в Филармонии, состоялся также концерт в парке Лазенки — в «Театре на острове». Огромный успех музыканты имели не только у публики. В Лазенках живет много павлинов. Почти все они собрались на концерт и во время антракта с большим успехом забавляли собравшуюся публику, пытаясь подражать музыкантам.



Сцена из спектакля «Банан» театра им. Ленсовета

Конечно, невозможно было обойтись без театрального спектакля. Пьесу Славомира Мрожека «Вдовы» привез в Варшаву Театр им. Ленсовета. К сожалению, зал Collegium Nobilium Варшавской театральной академии не смог вместить всех желающих.

Перед спектаклем выступил сильно волновавшийся худрук В.Пази. Он сказал, что с трепетом и дрожью показывает полякам спектакль по пьесе Мрожека. Однако его опасения были напрасны. Актеры продемонстрировали высокое мастерство и исполнительский талант.

К сожалению, российское кино тоже гостит в Польше довольно редко. В этот раз удалось посмотреть два фильма Александра Сокурова: «Молох» (1999) и «Телец» (2000). Оба фильма, впервые показанные в Польше, были встречены с большим интересом. Они, по-видимому, выйдут в прокат.



Катажина К. Гардзина

ЮБИЛЕИ И ГОДОВЩИНЫ

В мае-июне вся музыкальная Польша праздновала две годовщины. 16 мая исполнилось сто лет со дня рождения знаменитого польского певца Яна Кепуры, звезды крупнейших оперных сцен мира во главе с нью-йоркской «Метрополитен-оперой».

Ян Кепура родился в 1902 г. в Сосновце, в семье бедного пекаря. С детства уверенный в своем таланте, он поднимался по ступенькам вокального ремесла, пока наконец не дебютировал на сцене Варшавской оперы. В 1923 г. он выступил в роли запевалы хора в «Гальке» Монюшко. Оказавшись наконец на вожделенной сцене, певец решил показать, на что способен, и до бесконечности затянул высокую ноту в своей партии. После этого подвига тогдашний директор оперы, дирижер Эмиль Млынарский немедленно... выгнал молодого певца из театра. И все-таки Ян Кепура довольно скоро после этого вернулся на сцену в главной партии оперы «Фауст». С тех пор карьера способного певца развивалась с молниеносной быстротой. Вскоре он пел уже в Берлине, Вене, Париже, Будапеште, в миланской «Ла Скала». Несколько раз выступил он и в «Метрополитен-опере», а затем вместе со своей женой Мартой Эггерт триумфально выступал на Бродвее в оперетте «Веселая вдова». Сыграл он и в нескольких музыкальных кинокомедиях, где впервые исполнил такие ставшие шлягерами песни, как «Брюнетки, блондинки» или «Нинон». Умер в 1966 г. в США, похоронен на мемориальном участке варшавского кладбища Повонзки.

Польский Сейм объявил 2002 год годом Яна Кепуры. В связи с этим проходили различные праздничные мероприятия, концерты и выставки. В городе, где родился Ян Кепура, ему поставили памятник. Бронзовая статуя трехметровой высоты изображает Кепуру в его, пожалуй, самой характерной позе — не на оперной сцене, не в костюме из «Риголетто», «Манон» или «Кармен», а в развевающемся макинтоше и шляпе, с вытянутой вверх рукой. Таким представал он перед самой широкой своей публикой, когда, выходя из поезда, поддавался на уговоры и пел, стоя на балконе или на крыше автомобиля. Ян Кепура был кумиром масс, как в наше время поп-музыканты.

В Сосновце, где действует Клуб друзей Яна Кепуры, была подготовлена специальная выставка. На ней экспонируются такие любопытные документы, как школьные свидетельства будущего певца (показывающие, что Ян учился не слишком прилежно), первая характеристика голоса Яна Кепуры, данная проф. Вацлавом Бжезинским, и письма родным. Фотографии на выставке позволяют увидеть Кепуру в его самых знаменитых ролях — герцога Мантуанского, Йонтека в «Гальке» и других, а также в кинофильмах, где он играл, и в частной жизни — с женой и сыновьями.

Варшавский Большой театр к 100-летию Яна Кепуры подготовил премьеру оперетты «Веселая вдова». Поставил спектакль кино- и театральный режиссер Мацей Войтышко, дирижировал директор театра Яцек Каспшик, в главных ролях выступили солисты театра Ивона Хосса, Лешек Свидзинский, Адам Крушевский и Адам Здуниковский. Спектакль получился красочный, подшучивающий над опереточной формой, но не слишком удачный.

Вторая важная для польских меломанов годовщина — 130 лет со дня смерти Станислава Монюшко, создателя польской национальной оперы, автора «Гальки» и «Страшного двора». Напомним, что, кроме этих двух главных опер, Монюшко написал еще ряд опер, в т.ч. «Графиню», «Сплавщика леса» и «Парию», а также бесчисленное множество песен, популярных и по сей день и захватывающих своей простотой и очарованием. Пропаганде творчества Монюшко среди музыкальной молодежи всего мира служит конкурс молодых певцов имени композитора, проводящийся в Варшаве каждые три года. Следующий Монюшковский конкурс состоится в 2004 г. в Большом театре.

Годовщина смерти Монюшко была отмечена торжественным заседанием и концертом в костеле св. Карла Борромео на кладбище Повонзки, где похоронен композитор. Варшавское музыкальное товарищество организовало концерт, на котором меццо-сопрано Эугения Резлер исполнила малоизвестные песни Монюшко. А вечером 4 июня в Национальной опере прошло представление «Страшного двора» в исполнении солистов, хора и оркестра Большого театра под управлением Яцека Каспшика.

Та же опера шла и 23 июня — на сей раз отмечалось 80-летие знаменитого польского баса Бернарда Ладыша. Певец с успехом выступал как на польской, так и на зарубежной сцене, пел вместе с Марией Каллас. В числе самых знаменитых его партий — Сколуба в «Страшном дворе», Борис в «Борисе Годунове», Базилио в «Севильском цирюльнике» и многие другие. Певец был также несравненным исполнителем песен Монюшко, потому-то его юбилей и был отмечен исполнением оперы этого композитора.



Михал Болтрык

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ В ХАЙНУВКЕ

При участии властей Подлесского воеводства Дни православной церковной музыки в этом году стали международными. Президент Александр Квасневский лично поддержал это мероприятие. Предстоятели автокефальных православных Церквей прислали свои хоры. Фестиваль заинтересовал любителей православного пения. «Здесь, в Хайнувке, — написал в обращении к участникам и слушателям Дней православной церковной музыки президент Квасневский, — слушая православное пение, мы самым глубоким и проникновенным образом учимся диалогу, взаимопониманию и открытости. Я рад, что популярность встреч с православной музыкой в Хайнувке перешагнула границы Польши и что этот фестиваль получил признание среди приверженцев иных конфессий. С самой искренней радостью я оказал поддержку международным Дням православной церковной музыки».

На фестивальном конкурсе (22-26 мая) выступило 34 хора — это более тысячи исполнителей из шести стран.

— Все участники — лауреаты, — сказал директор фестиваля о. Михал Негеревич перед оглашением итогов, — потому что все они хвалили величие Божие.

О. Леонтий Тофилюк, председатель жюри, огласил список награжденных хоров в пяти категориях. Первые места заняли: в категории «приходский сельский хор» — хор женского Марфо-Мариинского монастыря на святой горе Грабарке под управлением сестры Эльжбеты (Золотаревой); «приходский мужской хор» — хор «Благовест» из собора св. Иова Почаевского в Дорогобуже (регент Наталья Самокишина); «светские хоры» — камерный хор «Дойлидства» из Гродно под управлением Натальи Бульцевич; из других хоров (присуждено II место, первое не присуждена) — мужской хор «Канон» из Москвы, регент Андрей Родионов; «молодежные хоры» (две вторые премии, первая не присуждена) — юношеский хор монастырского прихода в Супрасле (регент Мирослава Тихонюк) и молодежный хор прихода Св. Духа в Белостоке (регент Богдан Пура).

Главная премия фестиваля была присуждена молодежному хору Музыкально-хоровой студии при Дворце детского творчества в Новгороде Великом (Россия) под управлением Юрия Никифорова.

Евгений Чиквин, главный редактор журнала «Пшеглёнд православный», наградил своей премией хор прихода св. Михаила из Беловежа (регент о. Ежи Кулик).

По мнению доктора наук Владимира Волосюка, в выступлениях были моменты волнующие, были и недостатки. Но все выступления отличались высокой культурой церковного пения.

— Я бываю на многих фестивалях религиозной музыки. Восхищен исполнительским мастерством хоров, которые выступали в Хайнувке, — сказал проф. Игорь Мацеевский из Петербурга.

По мнению о. Ежи Мацкевича, фестиваль выполнил свое назначение, так как на нем выступило много приходских хоров. Ведь грешно было бы не использовать потенциал, которым обладает наша Церковь.

— Формула приходских хоров прошла проверку на фестивале. Более 20 лет тому назад я присутствовал на первых Днях церковной музыки. Никто тогда и не думал о светских хорах. Концерты светских хоров прекрасны, но они воздействуют на эмоции. В церковной же музыке речь идет о духовности, — заключил о. Леонтий. — Думаю, что в будущем году нужно будет предложить хорам сгруппировать репертуар по времени создания произведений и по техническим трудностям исполнения.

На заключительном концерте в соборе Святой Троицы в Хайнувке присутствовали митрополит Савва [предстоятель Польской Православной Церкви], епископы Мирон и Григорий. Прибыли на него также почетные гости — премьер-министр Лешек Миллер с супругой, маршал Сейма Марек Боровский с супругой, министр иностранных дел Влодзимеж Цимошевич с супругой и министр культуры Анджей Целинский. Воеводские власти представлял воевода Марек Стшалинский. Присутствовали также послы многих государств.

Анджей Целинский перед концертом заметил, что православная музыка — это та культурная ценность, которую Польша хотела бы внести в сокровищницу Евросоюза.

— Я восхищен, — это были первые слова премьера после концерта. — Важно, чтобы эта прекрасная традиция и дальше продолжалась в Хайнувке. У меня есть особые, личные причины этого желать. Жена моего сына — украинка. Если бы она сейчас была в Польше, она была бы с нами, в Хайнувке. Думаю, что в следующем году я опять сюда приеду.

«Пшеглёнд православный», 20 июня

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Я.Гослицкий о Станиславе Бжозовском

К.Бурнетко: Газетный киоск

Л.Бальцерович о будущем Европы

М.Клецель: Лукасинский в Шлиссельбурге

Р.Пшибыльский об И.Бродском и А.Ахматовой

Я.Стшалка беседует с Анджеем Вайдой

К.Яновская и П.Мухарский: Беседы к началу столетия

Наши люди: Яцек Возняковский

Наши за границей: А.Северин, В.Пшоняк, З.Рыбчинский, А.Холланд, В.Скальмовский, Р.Полянский, А.Кшивицкий и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского и др.

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой,

Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»

Допущен к распространению на территории Российской Федерации
решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ № 77-1063** от 3 ноября 1999 года)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША:

Dialog

Ежемесячник, посвященный современной драматургии.

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник для читателей, библиофилов, библиотечных работников и издателей. В каждом номере обзор новостей, рецензии, статьи о издательском деле, анонсы, библиографии.

НОВАЯ
ПОЛЬША

Новый ежемесячник о Польше на русском языке. Публицистика, политика, вопросы экономики и культуры, обзор литературной и научной жизни страны.

twórczość

Самый долговечный и заслуженный польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и культурной публицистике. Журнал активно участвует в культурной жизни Польши.

ruch muzyczny

Единственный в Польше журнал о музыке, ее теории и практике. Выходит раз в две недели.

LITERATURA na świecie

Известнейший ежемесячник, содержащий обзор произведений иностранных авторов.

Biblioteka Narodowa. Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich,
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax (+48 22) 6082488, tel.(+48 22) 6082374

Cena detaliczna w Polsce
12 zł (w tym 0% VAT)